

Юай Чоксахват

Чужая станция.



Юай Чоксахват
Чужая станция.

«Автор»

2026

Чоксахват Ю.

Чужая станция. / Ю. Чоксахват — «Автор», 2026

В большом доме всё держится на привычке, деньгах и красивой картинке. Но один семейный скандал рушит фасад, за которым давно копились измены, усталость и страх потерять место в собственной жизни. Она пытается выбрать между долгом, любовью и правом быть живой. Он уверен, что всё можно объяснить, купить или переждать. Вокруг них — дети, родня, светские разговоры, поезда, телефоны и Москва, где каждый знает чужую тайну раньше, чем её произнесут вслух. «Чужая станция» — современная семейная драма о страсти, репутации и цене решений, которые уже нельзя отменить.

© Чоксахват Ю., 2026

© Автор, 2026

Юай Чоксахват

Чужая станция.

Чужая станция
Yuai Choksahwat
Серия «Книга времени»

Все счастливые семьи похожи, а каждая несчастливая – по-своему.

В доме у Облонских творился полный хаос. Даша узнала о связи Стаса с их бывшей репетиторшей французского, и заявила, что больше не может с ним жить. Это продолжалось уже третий день, и все – супруги, дети, прислуга – чувствовали себя ужасно. Казалось, что в привокзальной забегаловке случайные попутчики связаны больше, чем они, члены одной семьи. Даша не выходила из своей комнаты, Стаса третий день не было дома. Дети носились по дому, как потерянные. Няня поссорилась с домработницей и написала подруге в Telegram с просьбой найти ей новое место. Повар уволился еще вчера, прямо во время обеда. Уборщица и водитель просили расчёт.

На третий день после скандала Степан Аркадьевич Облонский – Стас, как его звали в светской тусовке – проснулся не в спальне, а в своем кабинете, на кожаном диване. Он перевернулся на пружинах, пытаясь снова заснуть, крепко обнял подушку, прижался к ней щекой, но вдруг резко сел и открыл глаза.

«Да, да, что это было? – думал он, вспоминая сон. – Точно! Алабин давал банкет где-то в Дрездене... или нет, в каком-то американском месте. Да, но Дрезден был в Америке. Точно, Алабин устроил фуршет на стеклянных столах, и столы пели: *Il mio tesoro...* или не *Il mio tesoro*, а что-то круче, и какие-то мини-бутылочки, и они же – девушки», – вспоминал он.

Глаза Стаса весело заблестели, он задумался с улыбкой. «Да, было круто, очень круто. Там еще много чего было классного, но словами не передать, и даже наяву не выразишь». Заметив полоску света, пробившуюся сквозь жалюзи, он скинул ноги с дивана, нашарил тапки, вышитые Дашей (подарок на прошлый день рождения), отделанные золотистой кожей, и по старой привычке, не вставая, потянулся к тому месту, где в спальне висел его халат. И тут он вдруг вспомнил, как и почему он спит не в спальне, а в кабинете. Улыбка сползла с его лица, он нахмурил лоб.

«Ах, ах, ах! Аа!...» – замычал он, вспоминая всё. В его воображении снова возникли все детали ссоры с Дашей, вся безвыходность его положения и, самое мучительное, – его собственная вина.

«Да! Она не простит и не может простить. И самое ужасное, что виноват во всем я, – виноват я, но не чувствую себя виноватым. В этом вся трагедия, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые моменты ссоры.

Самым неприятным был тот момент, когда он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромной грушей для Даши в руке, не нашел ее в гостиной. К удивлению, не нашел ее и в кабинете, и наконец увидел ее в спальне с несчастной запиской в руке, которая все раскрыла.

Она, вечно озабоченная, хлопотливая и недалекая, какой он ее считал, Даша, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

– Что это? Что это? – спросила она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, Стаса мучило не столько само событие, сколько то, как он ответил на эти слова Даши.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, Степана Аркадьича мучило не столько само событие, сколько его реакция на слова жены.

В тот момент с ним произошло то, что случается с людьми, когда их внезапно ловят на чем-то постыдном. Он не успел подготовить лицо к той роли, в которой оказался перед женой после разоблачения. Вместо того чтобы возмутиться, отрицать, оправдываться, просить прощения или хотя бы остаться равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно непроизвольно ("рефлексы, черт бы их побрал", – подумал Степан Аркадьич, любивший популярную психологию), совершенно непроизвольно расплылось в привычной, добродушной и потому глупой улыбке.

Эту глупую улыбку он не мог себе простить. Увидев ее, Долли вздрогнула, как от удара, и разразилась, с присущей ей горячностью, потоком обидных слов, после чего выбежала из комнаты. С тех пор она отказывалась видеть мужа.

"Во всем виновата эта дурацкая улыбка", – думал Степан Аркадьич.

"Но что же делать? Что делать?" – с отчаянием спрашивал он себя, не находя ответа.

П.

Степан Аркадьич был честен с самим собой. Он не мог обманывать себя и уверять, что раскаивается в содеянном. Он не мог сейчас раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, привлекательный, влюбчивый мужчина, не был влюблен в жену, мать пятерых живых и двоих умерших детей, которая была всего на год моложе его. Он сожалел лишь о том, что не сумел лучше скрыть свои похождения от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Возможно, он смог бы лучше скрыть свои грехи, если бы ожидал такой бурной реакции. Он никогда не задумывался об этом всерьез, но смутно полагал, что жена давно догадывается о его неверности и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, уставшая, постаревшая, уже не такая красивая и ничем не примечательная, просто добрая мать семейства, по справедливости должна быть снисходительна. Но все оказалось совсем наоборот.

"Ах, ужасно! Ай-ай-ай! Ужасно!" – твердил себе Степан Аркадьич, не находя выхода. – "И как же хорошо все было до этого, как мы жили! Она была довольна, счастлива с детьми, я ей ни в чем не мешал, позволял заниматься детьми и хозяйством, как ей хотелось. Правда, нехорошо, что эта волонтерка приехала к нам из Белгорода. Нехорошо! Есть что-то пошлое в уходе за приезжей. Но какая девушка! (Он живо вспомнил ее темные, хитрые глаза и улыбку.) Но ведь пока она была у нас, я ничего себе не позволял. И хуже всего то, что она уже... Надо же, как назло! Ай-ай-ай! Но что же, что же делать?"

Ответа не было, кроме того общего ответа, который жизнь дает на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить сегодняшним днем, то есть забыться. Забыться сном уже не получится, по крайней мере, до ночи. Нельзя вернуться к тем радостям, что были раньше; значит, нужно забыться в суете жизни.

Ответа не было, кроме того общего ответа, который даёт жизнь на все самые сложные вопросы. Ответ этот: надо жить сегодняшним днём, то есть забыться. Забыться сном уже не получится, по крайней мере, до ночи. Нельзя вернуться к тем мечтам, что раньше грели душу. Значит, надо забыться в суете жизни.

"Там видно будет", – сказал себе Степан Аркадьевич и, встав, накинул серый халат на голубой подкладке. Затянув пояс узлом, он набрал воздуха в грудь и привычной бодрой походкой, несмотря на свою полноту, подошёл к окну, поднял жалюзи и громко позвонил. На звонок тут же вошёл старый друг, камердинер Матвей, неся одежду, ботинки и сообщение в Telegram. Вслед за Матвеем вошёл и парикмахер с принадлежностями для бритья.

– Из офиса что-нибудь прислали? – спросил Степан Аркадьевич, беря телефон и садясь к зеркалу.

– На столе, – ответил Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, помедлив, добавил с хитрой улыбкой: – От водителя приходили.

Степан Аркадьевич ничего не ответил и только в зеркало посмотрел на Матвея. Во взгляде, которым они встретились, было видно, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьевича как будто спрашивал: "Зачем ты об этом говоришь? Разве ты не знаешь?"

Матвей засунул руки в карманы своей куртки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

– Я сказал прийти в воскресенье, а до тех пор чтобы не беспокоили вас и себя понапрасну, – произнёс он заготовленную фразу.

Степан Аркадьевич понял, что Матвей хотел пошутить и привлечь внимание. Разорвав уведомление, он прочёл его, догадываясь о неточностях, и лицо его просияло.

– Матвей, сестра Аня завтра приезжает, – сказал он, остановив на минуту руку парикмахера, расчищавшего розовую кожу между длинными бакенбардами.

– Слава Богу, – сказал Матвей, показывая, что он понимает значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, может помочь примирению супругов.

– Одна или с мужем? – спросил Матвей.

Степан Аркадьевич не мог говорить, так как парикмахер занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей кивнул в зеркало.

– Одна. Комнату приготовить?

– Даше скажи, где ей будет удобно.

– Даше? – как бы с сомнением повторил Матвей.

– Да, скажи. И вот, возьми сообщение, передай, что они скажут.

"Попробовать хотите", – понял Матвей, но сказал только: – Слушаюсь.

Степан Аркадьевич уже был умыт и причёсан и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими ботинками, с телефоном в руке, вернулся в комнату. Парикмахера уже не было.

– Дарья Александровна сказала, что они уезжают. Пусть делают, как им, вам то есть, угодно, – сказал он, смеясь только глазами, и, засунув руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьевич помолчал. Потом добрая и немного жалкая улыбка появилась на его красивом лице.

– А? Матвей? – сказал он, покачивая головой.

– Ничего, образуется, – сказал Матвей.

– Образуется?

– Так точно.

– Ты думаешь? Это кто там? – спросил Степан Аркадьевич, услышав за дверью шум женской одежды.

– Это я, – сказал твёрдый и приятный женский голос, и из-за двери выглянуло строгое лицо Матрёны Филимоновны, няни.

— Это я, — услышал Олег знакомый, хоть и строгий голос. В дверях показалось лицо тети Маши, бывшей няни, а теперь скорее просто близкой подруги его жены.

— Что там, Мария Филимоновна? — спросил Олег, выходя в коридор.

Он понимал, что виноват перед женой, и мучился от этого. Но странно, почти все в доме, даже тетя Маша, которая всегда была на стороне Ирины, относились к нему с пониманием.

— Что случилось? — спросил он устало.

— Пойдите, Олег, попросите прощения еще раз. Может, она смягчится. Видно, как ей тяжело, да и дома все кувыркотом. О детях подумайте. Попросите прощения. Что тут еще сделаешь! Сам знаешь...

— Да она же не захочет меня видеть...

— А вы все равно сделайте. Бог милостив, молитесь.

— Ладно, иди, — сказал Олег, вдруг покраснев. — Матвей, давай одеваться, — решительно сбросил он домашний халат.

Матвей, его помощник по хозяйству, уже держал наготове свежую футболку, словно сдувая с нее невидимые пылинки, и с видимым удовольствием помог Олегу ее надеть.

Одевшись, Олег брызнул на себя немного одеколona, поправил рукава футболки, привычным движением рассовал по карманам ключи, телефон, зажигалку, часы и, встряхнув руками, почувствовал себя немного бодрее. Несмотря на все проблемы, он ощущал прилив сил. Он вышел в кухню, где его уже ждал кофе, а рядом – рабочие документы.

Он просмотрел сообщения в телефоне. Одно было особенно неприятным – от поставщика стройматериалов для его небольшого бизнеса. Сейчас, пока он не помирится с женой, сложно было принимать решения. Но больше всего его раздражало, что в ситуацию вмешивались деньги. Сама мысль, что он может стремиться к примирению ради бизнеса, казалась ему отвратительной.

Закончив с сообщениями, Олег открыл ноутбук и просмотрел рабочие документы. Быстро пробежав глазами два отчета, он сделал несколько пометок и, отодвинув ноутбук, взялся за кофе. Сделав глоток, он открыл новостной Telegram-канал и углубился в чтение.

Олег читал либеральный канал, не самый радикальный, но отражающий взгляды большинства. Хотя политика его не особо интересовала, он старался быть в курсе событий и придерживался тех взглядов, которые были популярны в обществе и отражались в этом канале. Он не менял свои убеждения резко, скорее они менялись постепенно, вместе с общественным мнением.

Степан Аркадьевич подписывался на новостной Telegram-канал, не самый оппозиционный, но вполне в духе времени. Хотя ни политика, ни экономика, ни культура как таковые его особо не занимали, он придерживался взглядов, которые транслировал этот канал, и менял их, когда менял их канал. Вернее, даже не менял, а они как-то сами собой трансформировались.

Степан Аркадьевич не выбирал ни убеждения, ни политическую ориентацию – они сами к нему приходили. Как он не выбирал, какую куртку носить – брал то, что в тренде. А иметь какое-то мнение, живя в обществе и испытывая потребность хоть иногда напрягать извилины, было так же необходимо, как иметь водительские права. Если и была причина, по которой он предпочитал либеральные взгляды консервативным, которых придерживались многие из его круга, то не потому, что считал их более разумными, а потому, что они лучше соответствовали его образу жизни. Либералы писали, что в стране все плохо, и действительно, у Степана Аркадьевича долгов было полно, а денег постоянно не хватало. Либералы намекали, что традиционная семья – это пережиток прошлого, и ее нужно реформировать, и действительно, семейная жизнь доставляла Степану Аркадьевичу мало радости, заставляла его врать и притворяться, что было противно его натуре. Либералы говорили, что религия – это для бабушек и впечатлительных граждан, и действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без скуки даже короткую службу в церкви и не понимал, зачем все эти пафосные речи о загробной жизни, когда и на этой неплохо бы устроиться. К тому же, Степану Аркадьевичу, любившему острую шутку, было приятно иногда подколоть какого-нибудь патриота, заявив, что если уж гордиться предками, то не стоит останавливаться на Рюрике, а надо признать своим пращуром обезьяну. Так что либеральный канал стал для Степана Аркадьевича привычкой, и он любил его, как кальян после ужина, за приятный туман, который он напускал в его голове. Он прочел аналитическую статью о том, что не стоит паниковать из-за того, что добровольцы с фронта якобы угрожают стабильности, и что правительству не нужно закручивать гайки, а наоборот, «по нашему мнению, опасность кроется не в мнимых радикалах, а в косности чиновников, тормозящей развитие страны», и так далее. Он прочел и другую статью, экономическую, в которой критиковались действия Минфина. Со свойственной ему сообразительностью он понимал, кто кому и зачем

вставляет шпильки, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня это удовольствие омрачалось воспоминаниями о разговоре с домработницей и о том, что дома все не слава богу. Он прочел и о том, что какой-то важный чиновник улетел в Дубай, и о новых разработках в области БПЛА, и о продаже подержанного электросамоката, и о знакомстве с девушкой; но эти новости не доставляли ему, как прежде, тихого, иронического наслаждения.

Игорь Петрович не выбирал ни политическую ориентацию, ни убеждения. Они сами к нему приходили, как новая модель смартфона – просто брал то, что в тренде. В его кругу, с его потребностью хоть как-то занимать голову, иметь позицию было так же естественно, как носить брендовую куртку. Если и была причина, по которой он склонялся к условно либеральным взглядам, а не к консервативным, которых тоже хватало среди знакомых, то не потому, что считал их более разумными. Просто они лучше соответствовали его образу жизни.

"Либералы" в Telegram-каналах писали, что в России все плохо. И действительно, у Игоря Петровича кредитов было полно, а денег постоянно не хватало. "Либералы" намекали, что брак – это устаревший институт, который нужно реформировать. И правда, семейная жизнь приносила мало радости, заставляла врать и притворяться, что было противно его натуре. "Либералы" говорили, или, скорее, подразумевали, что религия – это для тех, кто не может сам себя контролировать. И Игорь Петрович не мог выдержать без скуки даже короткий молебен и не понимал, зачем все эти пафосные речи о загробной жизни, когда и на этой неплохо бы устроиться. К тому же, любившему пошутить Игорю Петровичу нравилось иногда поставить в тупик какого-нибудь патриота заявлением, что если уж гордиться историей, то не стоит останавливаться на Рюрике, а нужно признать своим предком обезьяну.

Так что либеральное направление стало привычкой, и он любил свой новостной агрегатор, как кальян после ужина, за легкий туман в голове. Он прочел аналитическую статью, где говорилось, что совершенно напрасно поднимается паника о том, что, мол, волонтеры с фронта угрожают поглотить все государственные структуры, и что правительство должно принять меры для подавления этой крамолы. Напротив, "по нашему мнению, опасность исходит не от мнимых добровольцев, а от бюрократии, тормозящей прогресс". И так далее. Прочел он и финансовый обзор, где упоминались какие-то западные экономисты и критиковалось министерство финансов. Со свойственной ему сообразительностью, он понимал, кто, кого и за что критикует, и это, как всегда, доставляло ему удовольствие. Но сегодня это удовольствие омрачалось воспоминаниями о вчерашнем разговоре с тещей и о том, что дома полный раздрай. Прочел он и о том, что какой-то чиновник уехал лечиться за границу, и о новой модели дрона-камикадзе, и о продаже подержанного внедорожника, и о знакомстве с девушкой. Но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого, иронического удовольствия.

Дочитав новости, допив вторую чашку кофе и доев бутерброд с колбасой, он встал, стряхнул крошки с футболки и, расправив плечи, натянул дежурную улыбку. Не потому, что у него на душе было что-то особенно приятное – улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта улыбка тут же напомнила ему обо всем, и он задумался.

Два детских голоса (Игорь Петрович узнал голоса Миши, младшего сына, и Кати, старшей дочери) послышались за дверью. Они что-то тащили и уронили.

– Я же говорила, что нельзя столько всего грузить на этот дрон, – кричала девочка, – теперь собирай!

— Я же говорила, нельзя так возить людей на "буханке"! — кричала дочка, передразнивая кого-то. — Теперь вот, расхлёбывай!

"Всё кувырком, – подумал Стива, – дети сами по себе". Он подошёл к ним и позвал. Они тут же бросили свой "автопарк" из коробок и прибежали к нему.

Любимица-дочь, не раздумывая, кинулась к нему, обняла за шею и повисла, как обычно, радуясь знакомому запаху его одеколона. Наконец, расцеловав его покрасневшее от наклона и сияющее нежностью лицо, она отпустила его и собралась убежать, но он её задержал.

— Мама где? — спросил он, поглаживая её гладкую шейку. — Здравствуй, — сказал он сыну, улыбаясь.

Он знал, что сына любит меньше, и всегда старался быть ровным, но мальчик чувствовал это и не ответил на его холодную улыбку.

— Мама? Встала уже, — ответила дочь.

Стива вздохнул. "Опять всю ночь не спала", — подумал он.

— Ну и как она? Весёлая?

Дочка знала, что родители поссорились, и что мама не может быть весёлой, и что папа это знает, и что он притворяется, спрашивая так легко. Она покраснела за него. Он тут же это понял и тоже покраснел.

— Не знаю, — сказала она. — Она сказала не учиться, а идти гулять с Анной Петровной к бабушке.

— Ну, иди, моя Танюша. Ах да, погоди, — сказал он, всё ещё держа её за руку.

Он взял с камина, куда вчера положил, коробку конфет и дал ей две, выбрав её любимые – шоколадную и помадную.

— Грише? — спросила дочь, показывая на шоколадную.

— Да, да. — И ещё раз погладив её по плечу, он поцеловал её в волосы и шею и отпустил.

— Машина ждёт, — сказал Матвей. — И посетительница, — добавил он.

— Давно? — спросил Стива.

— С полчаса.

— Сколько раз тебе говорить, докладывать сразу!

— Да надо же вам хоть кофе выпить, — сказал Матвей тем дружески-грубым тоном, на который нельзя было обижаться.

— Ладно, зови её скорее, — сказал Облонский, морщась от досады.

Посетительница, жена мобилизованного, просила о чём-то невозможном и бестолковом, но Стива, как обычно, усадил её, внимательно, не перебивая, выслушал и дал подробный совет, к кому и как обратиться, и даже быстро и складно своим крупным, красивым и чётким почерком написал записку человеку, который мог ей помочь. Отпустив её, Стива взял куртку и остановился, вспоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он не забыл ничего, кроме того, что хотел забыть, – жену.

"Да, точно!" Он опустил голову, и его красивое лицо стало печальным. "Идти или не идти?" – спрашивал он себя. И внутренний голос говорил ему, что идти не нужно, что кроме фальши там ничего не будет, что исправить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать её снова привлекательной и желанной, или его – стариком, неспособным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не получится; а фальшь и ложь были противны его натуре.

"Но когда-нибудь же надо; не может же так всё остаться", – сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил спину, достал стик, закурил, затянулся пару раз, бросил его в пепельницу и быстрыми шагами прошёл в спальню жены.

IV.

Дарья Александровна, в поношенной кофточке и с кое-как заколотыми на затылке тонкими косичками – когда-то густые волосы сильно поредели, – с осунувшимся лицом и большими, от худобы казавшимися огромными, испуганными глазами, стояла посреди комнаты, заваленной вещами, перед открытым шкафом. Она что-то выбирала. Услышав шаги мужа, замерла, уставившись на дверь, тщетно пытаясь придать лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, как боится его и этой встречи. Только что в который раз за эти три дня пыталась собрать детские и свои вещи, чтобы уехать к матери, – и снова не смогла решиться. Но и сейчас, как и прежде, твердила себе, что так дальше нельзя, что нужно что-то предпринять, наказать его, пристыдить, отомстить хотя бы малой толикой той боли, что он ей причинил. Она

все еще говорила, что уйдет от него, но чувствовала, что это невозможно. Невозможно, потому что не могла перестать считать его своим мужем и любить его. К тому же, понимала, что если здесь, в своем доме, она едва успевает следить за пятью детьми, то там, куда она поедет со всеми ними, им будет еще хуже. Да и за эти три дня младший заболел, отравившись каким-то негодным бульоном, а остальные вчера остались почти без обеда. Уехать невозможно, это ясно. Но, обманывая себя, она все же перебирала вещи, делая вид, что собирается.

Увидев мужа, она опустила руку в ящик шкафа, словно что-то ища, и обернулась к нему, только когда он подошел совсем близко. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало лишь растерянность и страдание.

– Долли! – произнес он тихим, робким голосом. Втянул голову в плечи, стараясь выглядеть жалким и покорным, но все равно сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом окинула с головы до ног его цветущую фигуру. "Да, он счастлив и доволен! – подумала она. – А я?... И эта противная доброта, за которую все его так любят и хвалят; я ненавижу эту его доброту", – подумала она. Рот ее сжался, мускул щеки задергался на правой стороне бледного, измученного лица.

– Что тебе нужно? – спросила она быстрым, чужим, грудным голосом.

– Долли! – повторил он с дрожью в голосе. – Анна сегодня приезжает.

– Ну и что мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она.

– Но надо же как-то, Долли...

– Уйди, уйди, уйди, – не глядя на него, закричала она, словно этот крик был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда думал о жене, мог надеяться, что все "образуется", как говорил Матвей, и мог спокойно читать новости в Телеграме и пить кофе. Но, увидев ее измученное, страдальческое лицо, услышав этот звук голоса – покорный судьбе и отчаянный, – у него перехватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

– Боже мой, что я наделал! Долли! Ради бога!.. Ведь... – он не мог продолжать, рыдание сдавило горло.

Она захлопнула дверцу шкафа и взглянула на него.

– Долли, что я могу сказать?... Одно: прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты...

Она опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, словно умоляя его как-нибудь ее разуверить.

– Минуты увлечения... – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, словно от физической боли, снова поджались ее губы и снова запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

— Минуты увлечения... — пробормотал он и осекся. От этих слов у нее снова дернулась щека, словно от острой боли.

— Уйди! Уйди отсюда! — крикнула она еще отчаяннее. — Не говори мне про свои увлечения и про свою грязь!

Она хотела уйти, но покачнувшись и схватившись за спинку стула. Лицо его расплылось, губы задрожали, глаза наполнились слезами.

— Долли! — проговорил он, всхлипывая. — Ради бога, подумай о детях! Они ни в чем не виноваты. Я виноват, накажи меня! Скажи, как мне искупить вину? Я все готов! Я виноват, не передать словами, как виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, прерывистое дыхание, и ему было невыразимо жаль ее. Она несколько раз пыталась заговорить, но не могла. Он ждал.

— Ты вспоминаешь о детях, чтобы поиграть с ними, а я помню и знаю, что они теперь... сломаны, — сказала она, словно повторяя фразу, которую твердила себе последние дни.

Она обратилась к нему на «ты», и он с благодарностью посмотрел на нее, потянулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отдернула ее.

— Я помню о детях и поэтому все на свете отдам, чтобы спасти их. Но я сама не знаю, как их спасти: увезти от отца или оставить с таким отцом... с таким! Ну скажи, после всего... после этого, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажи мне, разве это возможно? — повторяла она, повышая голос. — После того, как мой муж, отец моих детей, заводит интрижку с волонтеркой, помогающей детям...

— Но что же делать? Что делать? — говорил он жалким голосом, сам не понимая, что говорит, и все ниже опуская голову.

— Ты мне противен! Отвратителен! — закричала она, расплаясь все больше. — Твои слезы — вода! Ты никогда не любил меня! В тебе нет ни сердца, ни порядочности! Ты мне мерзок, гадок, чужой! Да, чужой совсем! — с болью и злобой произнесла она это страшное для нее слово — чужой.

Он посмотрел на нее, и злоба, исказившая ее лицо, испугала и поразила его. Он не понимал, что его жалость к ней только раздражает ее. Она видела в нем сожаление, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», — подумал он.

— Это ужасно! Ужасно! — проговорил он.

В это время в соседней комнате заплакал ребенок. Дарья Александровна вздрогнула, прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она словно очнулась на несколько секунд, не понимая, где она и что ей делать, и, быстро встав, направилась к двери.

«Ведь она любит моего ребенка, — подумал он, заметив перемену в ее лице при звуке плача, — моего ребенка! Как же она может ненавидеть меня?»

— Долли, еще одно слово, — проговорил он, идя за ней.

— Если ты пойдешь за мной, я позову людей! Детей позову! Пусть все знают, какой ты... какой ты! Я уезжаю сегодня же, а ты живи здесь со своей... со своей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьевич вздохнул, вытер лицо и тихими шагами вышел из комнаты. «Матвей говорит: все наладится. Но как? Я даже не вижу возможности. Ах, ах, какой кошмар! И как пошло она кричала, — говорил он себе, вспоминая ее крик и слова: "чужой". — И, может быть, дети слышали! Ужасно пошло, ужасно». Степан Аркадьевич постоял несколько секунд один, вытер глаза, вздохнул и, расправив плечи, вышел из комнаты.

Степан Аркадьевич вздохнул, провёл рукой по лицу и тихими шагами вышел из комнаты. «Матвей говорит, всё уладится; но как? Я даже не представляю. Ах, какой кошмар! И как пошло она кричала, — думал он, вспоминая её крик и слова: сволочь и любовница. — И, возможно, девочки слышали! Ужасно пошло, ужасно». Степан Аркадьевич постоял несколько секунд в одиночестве, протёр глаза, вздохнул и, расправив плечи, вышел из комнаты.

Была пятница, и в столовой мастер из "Точного времени" настраивал умные часы. Степан Аркадьевич вспомнил свою шутку об этом аккуратном лысоватом мастере, что тот "сам как часы, запрограммирован на всю жизнь, чтобы настраивать время", — и улыбнулся. Степан Аркадьевич любил удачную шутку. "А может, и правда всё уладится! Хорошее слово: уладится, — подумал он. — Надо будет рассказать кому-нибудь".

— Матвей! — крикнул он. — Приготовь там всё в гостиной для Анны Аркадьевны, — сказал он появившемуся Матвею.

— Слушаюсь.

Степан Аркадьевич надел куртку и вышел на крыльцо.

— Обедать дома будете? — спросил провожавший его Матвей.

— Как получится. Вот, возьми на расходы, — сказал он, доставая из кошелька тысячную купюру. — Хватит?

– Хватит ли, не хватит, а выкручиваться надо, – ответил Матвей, закрывая дверь и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна тем временем, успокоив ребёнка и по звуку машины поняв, что муж уехал, вернулась в спальню. Это было единственное место, где она могла укрыться от домашних забот, которые обступали её, стоило ей выйти из комнаты. Уже и сейчас, за то короткое время, пока она была в детской, няня и Матрёна Филимоновна успели задать ей несколько вопросов, не терпящих отлагательств и на которые только она могла ответить: что надеть детям на прогулку? Давать ли им ещё молока? Не пора ли искать нового повара?

– Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, снова села на то же место, где говорила с мужем, сжала похудевшие руки, с которых спадали кольца, и принялась перебирать в памяти весь разговор. "Уехал! Но чем всё закончилось у него с ней? – думала она. – Неужели он встречается с ней? Почему я не спросила его? Нет, нет, примирение невозможно. Даже если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие! – повторила она снова с особенным значением это страшное для неё слово. – А как я любила, Боже мой, как я любила его!... Как я любила! И разве я теперь не люблю его? Может быть, даже больше, чем прежде? Ужасно, главное, то..." – начала она, но не закончила свою мысль, потому что в дверях появилась Матрёна Филимоновна.

– Может, заказать доставку еды? – спросила она. – А то, как вчера, дети до шести вечера голодные сидели.

– Хорошо, сейчас выйду и закажу. И молоко свежее пусть привезут.

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и утопила в них на время своё горе.

V.

Степан Аркадьевич в школе учился неплохо, был способным, но ленивым и непоседливым, поэтому и выпустился не в первых рядах. Однако, несмотря на его склонность к развлечениям, невысокий чин и относительно молодой возраст, он занимал престижную и хорошо оплачиваемую должность начальника отдела в одном из московских ведомств. Эту должность он получил благодаря мужу своей сестры Анны, Алексею Александровичу Каренину, который занимал высокий пост в министерстве, курировавшем это ведомство. Впрочем, даже если бы Каренин не продвинул своего шурина, Степан Аркадьевич через сотню других связей – братьев, сестер, родственников, дядей, тетю – все равно получил бы эту должность или другую, с зарплатой тысяч в пятьсот, которая ему была необходима, так как его финансовые дела, несмотря на достаток жены, оставляли желать лучшего.

Половина Москвы и Петербурга были родственниками или приятелями Степана Аркадьевича. Он принадлежал к кругу людей, которые всегда были и оставались влиятельными. Треть чиновников старой закалки были друзьями его отца и помнили его еще ребенком; другая треть была с ним на короткой ноге, а оставшаяся треть – просто хорошими знакомыми. Следовательно, люди, распределявшие блага в виде должностей, подрядов, лицензий и тому подобного, были его приятелями и не могли его обойти. Облонскому не нужно было особо стараться, чтобы получить выгодное место; достаточно было не отказываться, не завидовать, не ссориться и не обижаться, чего он, по своей доброте, никогда и не делал. Ему показалось бы смешным, если бы ему сказали, что он не получит должность с нужным окладом, тем более что он не претендовал на что-то экстраординарное; он хотел лишь того, что получали его ровесники, а исполнять такую работу он мог не хуже любого другого.

Степана Аркадьевича любили все, кто его знал, за его добрый, веселый нрав и безусловную порядочность. В его привлекательной, открытой внешности, блестящих глазах, темных бровях, волосах, свежем цвете лица было что-то, что располагало к нему людей. "А, Стива! Облонский! Вот и он!" – почти всегда с радостной улыбкой говорили при встрече с ним. Даже если после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не произошло, на следующий день или через день все снова радовались встрече с ним.

За три года работы начальником отдела в одном из московских ведомств Степан Аркадьевич заслужил, помимо любви, еще и уважение коллег, подчиненных, начальства и всех, кто имел с ним дело. Главные качества Степана Аркадьевича, обеспечившие ему это всеобщее уважение на службе, заключались, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной на осознании собственных недостатков; во-вторых, в абсолютной либеральности, не той, о которой он читал в новостных Telegram-каналах, а той, что была у него в крови и с которой он относился ко всем людям одинаково, вне зависимости от их социального статуса и положения; и, в-третьих – самое главное – в полном равнодушии к делу, которым он занимался, благодаря чему он никогда не проявлял излишнего рвения и не совершал ошибок.

Занимая третий год должность начальника отдела в одном из департаментов московской мэрии, Степан Аркадьевич снискал не только любовь, но и уважение коллег, подчиненных, начальства и всех, кто имел с ним дело. Главные качества Степана Аркадьевича, обеспечившие ему это всеобщее уважение по службе, заключались, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной на осознании собственных недостатков; во-вторых, в совершенной толерантности, не той, о которой он читал в новостных Telegram-каналах, а той, что была у него в крови и с которой он совершенно ровно и одинаково относился ко всем людям, независимо от их статуса и происхождения; и, в-третьих – главное – в совершенном равнодушии к той работе, которой он занимался, вследствие чего он никогда не перегорал и не совершал грубых ошибок.

Приехав на служебной машине к зданию мэрии, Степан Аркадьевич, провожаемый почтительным охранником с его неизменным портфелем, прошел в свой небольшой кабинет, надел пиджак и вошел в зал совещаний. Сотрудники и секретари все встали, приветливо и уважительно кланяясь. Степан Аркадьевич торопливо, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки коллегам и сел. Он пошутил и перекинулся парой слов, ровно столько, сколько было прилично, и начал совещание. Никто лучше Степана Аркадьевича не умел найти ту грань между непринужденностью, простотой и официальным тоном, которая необходима для приятной и продуктивной работы. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьевича, подошел с документами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который был введен Степаном Аркадьевичем:

– Мы таки получили ответ из Пензенской областной администрации. Вот, пожалуйста...

– Наконец-то? – проговорил Степан Аркадьевич, закладывая палец в нужную страницу.

– Ну-с, господа... – И совещание началось.

«Если бы они знали, – думал он, с важным видом склонив голову, слушая доклад, – каким виноватым мальчишкой полчаса назад был их начальник!» – И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов совещание должно было идти без перерыва, а в два часа – кофе-брейк.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери зала совещаний вдруг распахнулись, и кто-то вошел. Все участники, сидевшие под портретом президента и у зеркальной стены, обрадовавшись перерыву в рутине, обернулись к двери; но охранник, стоявший у входа, тут же выпроводил вошедшего и закрыл за ним стеклянную дверь.

Когда доклад был закончен, Степан Аркадьевич встал, потянувшись и, отдавая дань либеральности времени, достал в зале совещаний электронную сигарету и направился в свой кабинет. Два его товарища, старый служака Никитин и референт Гриневич, вышли вместе с ним.

– После кофе-брейка успеем закончить, – сказал Степан Аркадьевич.

– Еще как успеем! – ответил Никитин.

– А жук еще тот этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьевич поморщился на слова Гриневича, давая этим понять, что неприлично преждевременно выносить суждения, и ничего ему не ответил.

– Кто это входил? – спросил он у охранника.

– Какой-то, ваше превосходительство, без спросу ворвался, пока я отвернулся. Вас спрашивал. Я говорю: когда выйдут участники совещания, тогда...

– Где он?

– Да вроде вышел в коридор, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал охранник, указывая на крепкого широкоплечего человека с кудрявой бородой, который, не снимая вязаной шапки, быстро и легко взбегал вверх по стертým ступенькам каменной лестницы. Один из спускавшихся вниз с папкой документов худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

— Да он в коридор вышел, а то всё тут слонялся. Этот... — сказал охранник, кивнув на крепкого, широкоплечего мужчину с кудрявой бородой, который, не снимая вязаной шапки, быстро поднимался по затёртым ступеням лестницы. Один из спускавшихся чиновников с портфелем остановился, недовольно посмотрел на ноги бегущего и вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьевич стоял у лестницы. Его добродушное лицо, выглядывающее из-за воротника куртки, засияло ещё ярче, когда он узнал поднимавшегося.

— Точно! Лёвин, наконец-то! — произнёс он с дружелюбной насмешкой, оглядывая приближающегося. — Как это тебя не стошнило искать меня в этом гадюшнике? — сказал Степан Аркадьевич, пожимая руку и целуя приятеля. — Давно приехал?

— Только что, и сразу к тебе, — ответил Лёвин, застенчиво, но вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь.

— Ну, пойдём в кабинет, — сказал Степан Аркадьевич, зная самолюбивую и озлобленную застенчивость друга. Схватив его за руку, он повёл его за собой, словно сквозь строй.

Степан Аркадьевич был на «ты» почти со всеми знакомыми: с шестидесятилетними стариками, с двадцатилетними парнями, с артистами, с чиновниками, с бизнесменами и с полковниками, так что многие из его «ты» находились на разных концах социальной лестницы и удивились бы, узнав, что у них есть что-то общее через Облонского. Он был на «ты» со всеми, с кем пил коньяк, а пил он коньяк со многими. Поэтому, встречая своих «ты» в присутствии подчинённых, он умел сгладить неловкость ситуации. Лёвин не был «стыдным ты», но Облонский почувствовал, что тот может не захотеть демонстрировать близость перед коллегами, и поспешил увести его в кабинет.

Лёвин был почти ровесником Облонского, и они были на «ты» не только из-за выпивки. Они были товарищами и друзьями юности. Они любили друг друга, несмотря на разницу характеров и вкусов, как любят друзья, сошедшиеся в молодости. Но, как часто бывает между людьми, выбравшими разные пути, каждый из них, оправдывая деятельность другого, в душе презирал её. Каждому казалось, что его жизнь — настоящая, а жизнь друга — лишь иллюзия. Облонский не мог сдержать лёгкой насмешливой улыбки при виде Лёвина. Он часто видел, как тот приезжает в Москву из деревни, где чем-то занимается, но чем именно, Степан Аркадьевич никогда не понимал и не интересовался. Лёвин всегда приезжал взволнованный, торопливый, немного стеснённый и раздражённый этой стеснённостью, с новым взглядом на вещи. Степан Аркадьевич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Лёвин в душе презирал городской образ жизни друга и его работу, считая её пустяком, и смеялся над этим. Но Облонский, делая как все, смеялся уверенно и добродушно, а Лёвин — неуверенно и иногда сердито.

Лёвин был почти одного возраста со Облонским, и они давно перешли на "ты". Товарищи, друзья юности. Любили друг друга, несмотря на разницу характеров и взглядов, как это бывает между друзьями, сблизившимися в молодости. Но, как часто случается между людьми, выбравшими разные пути, каждый, хоть и оправдывал в теории занятие другого, в душе относился к нему с легким пренебрежением. Каждому казалось, что его жизнь — настоящая, а жизнь друга — лишь иллюзия. Облонский не мог сдержать легкой ироничной улыбки при виде Лёвина. В который раз он приезжал из своей деревни под Москвой, где он что-то делал, но что именно

– Степан Аркадьевич никогда не понимал толком, да и не интересовался. Левин всегда приезжал в Москву взволнованный, торопливый, немного скованный и раздраженный этой скованностью, и почти всегда с каким-то новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьевич смеялся над этим, но ему это нравилось. Точно так же и Левин в душе презирал городской образ жизни приятеля и его работу в офисе, считая это пустяками, и тоже посмеивался над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая то, что делают все, смеялся уверенно и добродушно, а Левин – неуверенно и порой сердито.

– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьевич, входя в кабинет и отпуская руку Левина, словно показывая, что опасность миновала. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые лица двух товарищей Облонского, и особенно на руку элегантного Гриневича – с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными, желтоватыми, загнутыми ногтями и огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, казалось, поглощали все его внимание и мешали сосредоточиться. Облонский тут же это заметил и улыбнулся.

– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои коллеги: Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславович Гриневич, – и, обратившись к Левину: – Фермер, сейчас занимается поставками дронов на фронт, спортсмен, гири поднимает, скотовод и охотник, и мой друг, Константин Дмитриевич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева.

– Очень приятно, – сказал старичок.

– Имею честь знать вашего брата, Сергея Ивановича, – сказал Гриневич, протягивая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тут же повернулся к Облонскому. Хотя он очень уважал своего известного всей стране брата-писателя, он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

– Да я уже не фермер. Я со всеми разругался и больше не езжу на эти собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому.

– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? Почему?

– Долгая история. Я как-нибудь расскажу, – сказал Левин, но тут же начал рассказывать. – Ну, короче говоря, я убедился, что никакой реальной помощи от этих фермерских хозяйств нет и быть не может, – заговорил он так, словно его только что обидели. – С одной стороны, это показуха, игра в благотворительность, а я не настолько молод и не настолько стар, чтобы забавляться игрушками. А с другой, – он запнулся, – это просто способ для местных дельцов наживать деньги. Раньше были откаты, суды, а теперь вот это, не в виде взяток, а в виде незаслуженной зарплаты, – говорил он так горячо, словно кто-то из присутствующих оспаривал его мнение.

— Долгая история. Как-нибудь расскажу, — сказал Лёвин, но тут же начал: — Короче, я убедился, что никакой реальной пользы от этих волонтерских организаций нет и быть не может, — он говорил так, словно его кто-то обидел. — С одной стороны, это как в войнушку играют, в штабе сидят, а я уже не настолько молод, чтобы в это ввязываться. А с другой, — он запнулся, — это просто способ для местных дельцов нажиться. Раньше были разные схемы, а теперь вот волонтерство – не взятки напрямую, конечно, а просто незаслуженная зарплата, — говорил он горячо, будто кто-то с ним спорил.

— Эге! Да ты, я смотрю, опять в новую фазу вошёл, в такую... консервативную, — сказал Степан Аркадьевич. — Но это мы потом обсудим.

— Да, потом. Но мне нужно было тебя увидеть, — сказал Лёвин, с неприязнью глядя на руку Гриневича.

Степан Аркадьевич едва заметно улыбнулся.

— А как же ты говорил, что больше никогда не наденешь ничего западного? — спросил он, оглядывая его новую, явно дорогую куртку. — Так, вижу: новая фаза.

Лёвин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, слегка и незаметно, а как краснеют мальчишки, чувствуя, что выглядят смешно из-за своей стеснительности, и от этого стыдясь и краснея ещё больше, почти до слёз. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал на него смотреть.

— Ну, где же мы увидимся? Мне очень, очень нужно с тобой поговорить, — сказал Лёвин.

Облонский задумался:

— Вот что: поедем завтра в "Донбасскую кухню" позавтракаем, там и поговорим. До трёх я свободен.

— Нет, — подумав, ответил Лёвин, — мне ещё нужно кое-куда съездить.

— Ну, хорошо, тогда пообедаем вместе.

— Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а потом поговорим.

— Так скажи сейчас два слова, а беседовать будем за обедом.

— Два слова вот какие, — сказал Лёвин, — впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг стало напряжённым, словно он боролся со своей застенчивостью.

— Что у Щербачких? Всё по-старому? — спросил он.

Степан Аркадьевич, давно знавший, что Лёвин влюблён в его свояченицу Китти, едва заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

— Ты сказал, два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошёл помощник, с фамильярной почтительностью и некоторым, общим всем помощникам, скромным сознанием своего превосходства над начальником в знании текущих дел. Он подошёл с документами к Облонскому и, под видом вопроса, начал объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьевич, не дослушав, ласково положил руку на рукав помощника.

— Нет, вы уж сделайте так, как я говорил, — сказал он, смягчая замечание улыбкой, и, кратко объяснив, как он видит решение, отодвинул бумаги и сказал: — Так и сделайте, пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный помощник удалился. Лёвин, за время совещания с помощником совершенно оправившись от смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

— Не понимаю, не понимаю, — сказал он.

— Чего ты не понимаешь? — так же весело улыбаясь и доставая стик, спросил Облонский. Он ждал от Лёвина какой-нибудь странной выходки.

— Не понимаю, что вы делаете, — сказал Лёвин, пожимая плечами. — Как ты можешь это серьёзно воспринимать?

— Почему?

— Да потому что толку от этого нет.

— Ты так думаешь, а мы тут завалены работой.

— Бумажной. Ну да, у тебя к этому талант, — добавил Лёвин.

— Ты как будто из методички пишешь, — добавил Лёвин.

— То есть, ты считаешь, что мне чего-то не хватает?

— Может быть, и так, — ответил Лёвин. — Но я всё равно восхищаюсь твоим размахом и горжусь, что у меня такой влиятельный друг. Но ты так и не ответил на мой вопрос, — добавил он, с трудом глядя Облонскому прямо в глаза.

— Ладно, ладно. Погоди немного, сам к этому придешь. Хорошо тебе, три тысячи гектаров под Харьковом, да мускулы, да свежесть, как у школьницы, — а придешь и ты к нам. Да, так вот, о чем ты спрашивал: ничего не изменилось, но жаль, что ты так давно не был.

— А что там? — испуганно спросил Лёвин.

— Да ничего, — ответил Облонский. — Поговорим еще. Да ты вообще зачем приехал?

— Ах, об этом тоже потом, — снова покраснев до ушей, сказал Лёвин.

— Ну, хорошо. Понял, — сказал Степан Аркадьевич. — Слушай, я бы пригласил тебя к себе, но жена не совсем здорова. Вот что: если хочешь их увидеть, они, наверное, сегодня в парке Горького с четырех до пяти. Кити на коньках катается. Поезжай туда, а я подъеду, и вместе куда-нибудь поужинаем.

— Отлично, до встречи.

— Смотри, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в свою деревню! — смеясь крикнул Степан Аркадьевич.

— Нет, точно буду.

И, вспомнив, что он забыл поздороваться с коллегами Облонского, уже у самой двери, Лёвин вышел из кабинета.

— Должно быть, очень энергичный человек, — сказал Гриневич, когда Лёвин ушел.

— Да, батенька, — сказал Степан Аркадьевич, покачивая головой, — вот счастливчик! Три тысячи гектаров под Харьковом, всё впереди, и сколько свежести! Не то что мы.

— Что же вы жалуетесь, Степан Аркадьевич?

— Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьевич, тяжело вздохнув.

VI.

Когда Облонский спросил Лёвина, зачем он приехал, Лёвин покраснел и разозлился на себя за это, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал просить руки твоей свояченицы», хотя он приехал именно за этим.

Когда Стива Облонский спросил у Лёвина, зачем он, собственно, приехал в Москву, тот покраснел и разозлился на себя. Не мог же он ответить прямо: "Я приехал сделать предложение твоей свояченице", хотя именно за этим он и приехал.

Дома Лёвиных и Щербацких, старые московские интеллигентские семьи, всегда поддерживали близкие и дружеские отношения. Эта связь особенно укрепилась во время учебы Лёвина в университете. Он вместе готовился к поступлению и поступил вместе с младшим Щербацким, братом Долли и Кити. В те годы Лёвин часто бывал в доме Щербацких и, можно сказать, влюбился в сам этот дом. Как ни странно это может прозвучать, Константин Лёвин был влюблен именно в атмосферу, в семью, особенно в женскую половину семейства Щербацких. Сам Лёвин не помнил своей матери, а единственная сестра была намного старше, поэтому в доме Щербацких он впервые увидел ту самую среду старой интеллигенции, образованной и порядочной семьи, которой он был лишен из-за ранней смерти родителей. Все члены этой семьи, особенно женщины, казались ему окутанными какой-то таинственной, поэтической аурой. Он не только не видел в них никаких недостатков, но и предполагал под этой аурой самые возвышенные чувства и всевозможные достоинства.

Для чего этим трем девушкам нужно было обсуждать новости по-английски и читать западные паблики в Telegram; для чего они в определенные часы по очереди играли на синтезаторе, звуки которого доносились до брата, когда он занимался своими делами; для чего они посещали онлайн-курсы по дизайну, фотографии и иностранным языкам; для чего все три сестры с няней выезжали на прогулку в парк на электросамокатах в своих стильных пуховиках – у Долли длинный, у Натали средней длины, а у Кити совсем короткий, так что ее стройные ноги в обтягивающих лосинах были на виду; для чего им, в сопровождении водителя на черном внедорожнике, нужно было гулять по Патриаршим прудам – всего этого и многого другого,

что происходило в их загадочном мире, он не понимал, но знал, что все, что там происходит, прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность.

Во время учебы он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал испытывать чувства ко второй сестре. Ему казалось, что ему нужно влюбиться в одну из них, но он не мог понять, в какую именно. Но и Натали, едва появившись на горизонте, вышла замуж за сотрудника IT-компании Львова. Кити была еще подростком, когда Лёвин окончил университет. Младший Щербацкий, заключив контракт с Министерством обороны, погиб в зоне СВО, и общение Лёвина с Щербацкими, несмотря на дружбу с Облонским, стало реже. Но когда в начале этой зимы Лёвин приехал в Москву после года, проведенного в деревне, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, что может быть проще, чем сделать предложение княжне Щербацкой мужчине его круга, из хорошей семьи, скорее богатому, чем бедному, тридцати двух лет? По всем признакам, его должны были счесть отличной партией. Но Лёвин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити – такое совершенство во всех отношениях, такое существо, превосходящее все земное, а он – такое обычное, приземленное создание, что и мысли не могло быть о том, чтобы другие, и она сама, сочли его достойным ее.

Казалось бы, что может быть проще: успешному, скорее богатому, чем бедному, тридцатидвухлетнему мужчине сделать предложение Варваре Щербацкой. По всем признакам, его сочли бы отличной партией. Но Лёвин был влюблен, и ему казалось, что Варя — совершенство во всём, существо неземное, а он сам — обычный, приземлённый человек. Он не мог даже представить, что другие, и она сама, сочтут его достойным её.

Проведя в Москве, словно в тумане, два месяца, почти каждый день видя Варю на светских мероприятиях, куда он стал ездить ради неё, Лёвин внезапно решил, что ничего не выйдет, и уехал в деревню.

Убежденность Лёвина в провале основывалась на том, что в глазах родных он — невыгодная, недостойная партия для прекрасной Вари, а сама Варя не может его полюбить. У него нет привычной, чёткой карьеры и положения в обществе, в то время как его сверстники к тридцати двум годам уже кто — подполковник и адъютант, кто — профессор, кто — директор банка или крупной логистической компании, или глава департамента, как Стива Облонский. А он (он прекрасно понимал, как выглядит в глазах других) — фермер, занимающийся разведением коров, охотой и строительством, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и занимающийся, по мнению общества, тем, чем занимаются неудачники.

Сама же загадочная, прекрасная Варя не могла полюбить такого некрасивого, каким он себя считал, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. К тому же, его прежние отношения с Варей — отношения взрослого к ребёнку, из-за дружбы с её братом, — казались ему ещё одним препятствием для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно любить как друга, но чтобы быть любимым той любовью, которой он сам любил Варю, нужно быть красавцем, а главное — особенным человеком.

Он слышал, что женщины часто любят некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе: сам он мог любить только красивых, загадочных и особенных женщин.

Но, проведя два месяца в одиночестве в деревне, он убедился, что это не просто мимолётное увлечение, как в юности; что это чувство не даёт ему покоя ни на минуту; что он не может жить, не решив вопрос: станет ли она его женой или нет. И что его отчаяние — лишь плод его воображения, что у него нет никаких доказательств, что ему откажут. И вот он снова в Москве, твёрдо решив сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII.

Приехав утренней "Ласточкой" в Москву, Лёвин первым делом заехал к своему старшему брату по матери, Кознышеву. Быстро переодевшись, он вошел в кабинет брата, намереваясь сразу рассказать о цели своего визита и попросить совета. Но брат был не один. У него сидел известный философ, профессор из Харькова, приехавший лично, чтобы разрешить возникшее между ними недопонимание по одному важному философскому вопросу. Профессор вел ожесточенные споры с материалистами, и Сергей Кознышев с интересом следил за этими дебатами. Прочитав последнюю статью профессора, он написал ему письмо со своими возражениями, упрекая его в излишних уступках материалистам. И профессор немедленно приехал, чтобы обсудить все лично. Речь шла об актуальной теме: существует ли граница между психическими и физиологическими процессами в человеческой деятельности, и если да, то где она проходит?

Сергей Иванович встретил брата своей обычной, вежливо-холодной улыбкой. Представив его профессору, он продолжил разговор.

Маленький, желтоватый человек в очках, с покатым лбом, на мгновение отвлекся, чтобы поздороваться, и тут же вернулся к беседе, не обращая внимания на Лёвина. Тот присел в ожидании, когда профессор уйдет, но вскоре заинтересовался темой разговора.

Лёвин встречал в научных журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими как развитием основ естествознания, знакомых ему еще по университету. Но он никогда не связывал эти научные выводы о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии, с теми вопросами о смысле жизни и смерти, которые в последнее время все чаще приходили ему в голову.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они касаются научных вопросов, имеющих отношение к самым сокровенным размышлениям, несколько раз почти подходили к этим вопросам вплотную, но каждый раз, как только они приближались к самому главному, как казалось Лёвину, они тут же поспешно отстранялись и снова углублялись в область тонких разграничений, оговорок, цитат, намеков и ссылок на авторитеты. Ему с трудом удавалось понимать, о чем идет речь.

— Я не могу допустить, — говорил Сергей Иванович с присущей ему ясностью и четкостью выражения, — я ни в коем случае не могу согласиться с тезисом, что все мои представления о внешнем мире проистекают исключительно из ощущений. Само фундаментальное понятие *бытия* получено мною не через ощущения, ибо не существует специального органа чувств для передачи этого понятия.

— Да, но ваши оппоненты, скажут вам, что ваше сознание бытия проистекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Даже утверждают, что если нет ощущения, то нет и понятия бытия.

— Я скажу наоборот, — начал Сергей Иванович...

Но тут Лёвину снова показалось, что они, подойдя к самому главному, опять уходят в сторону, и он решился задать профессору прямой вопрос.

— Значит, если мои чувства будут уничтожены, если мое тело умрет, то никакого существования уже не может быть? — спросил он.

Профессор с досадой и как будто с умственной болью от внезапного перерыва оглянулся на странного вопрошателя, больше похожего на мобилизованного солдата, чем на философа, и перевел взгляд на Сергея Ивановича, словно спрашивая: "Что тут можно ответить?" Но Сергей Иванович, который говорил не с таким усилием и односторонностью, как профессор, и у которого в голове оставалось место для того, чтобы и отвечать профессору, и одновременно понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был задан вопрос, улыбнулся и сказал:

— На этот вопрос мы пока не имеем права давать окончательный ответ...

— Этот вопрос пока не в нашей компетенции...

— Не хватает данных, — подтвердил профессор, продолжая развивать свою мысль. — Нет, — говорил он, — я подчеркиваю, что если, как утверждает Припасов, ощущение основано на впечатлении, то необходимо четко разграничивать эти два понятия.

Левин перестал слушать и ждал, когда профессор уедет.

VIII.

Когда профессор ушел, Сергей Иванович обратился к брату:

— Очень рад, что ты приехал. Надолго? Как хозяйство?

Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата, и тот спрашивает об этом лишь из вежливости. Поэтому он ответил только о продаже зерна и полученных деньгах.

Левин хотел рассказать брату о своем намерении жениться и попросить совета, даже твердо решил это сделать. Но, увидев брата, послушав его разговор с профессором, услышав этот невольный покровительственный тон, с которым брат расспрашивал о делах в имении (материнское наследство еще не было разделено, и Левин управлял обеими частями), Левин почувствовал, что не может начать разговор о женитьбе. Он понимал, что брат отнесется к этому не так, как ему хотелось бы.

— Ну, что у вас с местным самоуправлением, как дела? — спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и придавал ему большое значение.

— Да, право, не знаю...

— Как? Ты же был членом управы?

— Нет, больше не член; я вышел, — ответил Константин Левин, — и больше не езжу на собрания.

— Жаль! — произнес Сергей Иванович, нахмурившись.

Левин в оправдание стал рассказывать, что происходило на собраниях в его районе.

— Вот всегда так! — перебил его Сергей Иванович. — Мы, русские, всегда так. Может, это и хорошая черта — видеть свои недостатки, но мы перегибаем палку, утешаемся иронией, которая всегда у нас наготове. Дай эти же права, как у наших органов местного самоуправления, другому европейскому народу — немцы или англичане давно бы построили на этом демократию, а мы только смеемся.

— Но что же делать? — виновато сказал Левин. — Это был мой последний опыт. Я от всей души пытался. Не могу. Не получается.

— Не "не получается", — сказал Сергей Иванович, — ты просто не так смотришь на вещи.

— Может быть, — уныло ответил Левин.

— А ты знаешь, брат Николай опять здесь.

Брат Николай был родным старшим братом Константина Левина и единокровным братом Сергея Ивановича, пропащий человек, растративший большую часть своего состояния, связавшийся с сомнительной компанией и поссорившийся с братьями.

— Что ты говоришь? — с ужасом воскликнул Левин. — Откуда ты знаешь?

— Прокофий видел его на улице.

— Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? — Левин встал со стула, словно собираясь немедленно идти на поиски.

— Зря я тебе это сказал, — сказал Сергей Иванович, покачав головой, видя волнение младшего брата. — Я посылал узнать, где он живет, и отправил ему вексель от Трубина, который я оплатил. Вот что он мне ответил.

Сергей Иванович протянул брату записку, лежавшую под пресс-папье.

Левин прочитал написанное знакомым, странным почерком: «Прошу оставить меня в покое. Это единственное, чего я требую от моих любезных братьев. Николай Левин».

Левин прочитал это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял перед Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть о несчастном брате и осознание того, что это будет неправильно.

— Он, очевидно, хочет меня задеть, — продолжал Сергей Иванович, — но задеть меня невозможно, и я всей душой хотел бы ему помочь, но знаю, что это бесполезно.

— Он явно хочет меня задеть, — продолжал Сергей Иванович, — но ему это не удастся. Я бы искренне хотел ему помочь, но понимаю, что это невозможно.

— Да, да, — повторил Левин. — Я понимаю и ценю твое отношение, но я к нему поеду.

— Если хочешь, езжай, но я бы не советовал, — сказал Сергей Иванович. — Не то чтобы я боялся, что он нас рассорит, но ради тебя самого лучше не ездить. Ничем не сможешь. Впрочем, поступай как знаешь.

— Может, и не помогу, но я чувствую, особенно сейчас... в общем, не могу оставаться в стороне.

— Этого я не понимаю, — сказал Сергей Иванович. — Но одно я понял, — добавил он, — это урок смирения. Я стал иначе, снисходительнее смотреть на то, что называют низостью, после того, как Николай стал таким... Ты знаешь, что он натворил...

— Да, это ужасно, ужасно! — повторял Левин.

Получив от горничной Сергея Ивановича адрес брата, Левин собрался ехать к нему, но решил отложить поездку до вечера. Сначала нужно было разобраться с тем, зачем он приехал в Москву. От брата Левин поехал в офис Облонского и, узнав о Щербацких, направился туда, где, по слухам, можно было застать Кити.

IX.

В четыре часа, с бешено колотящимся сердцем, Левин вышел из такси у парка "Сокольники" и пошел по дорожке к горкам и катку, почти уверенный, что найдет ее там, так как видел машину Щербацких у входа.

Был ясный морозный день. У входа стояли ряды машин, такси, иногда попадались военные патрули. Люди, сверкая на солнце шапками и куртками, толпились у входа и на расчищенных дорожках между стилизованными под старину кафешками; заснеженные березы, казалось, были украшены к празднику.

Он шел по дорожке к катку и повторял себе: "Не волнуйся, успокойся. О чем ты? Чего ты боишься? Молчи, дурак", — обращаясь он к своему сердцу. Но чем больше он пытался успокоиться, тем сильнее сбивалось дыхание. Кто-то знакомый окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горкам, где гремели цепи поднимающихся санок и звучали веселые голоса. Пройдя еще несколько шагов, он увидел каток и сразу же узнал ее среди всех катающихся.

Он понял, что она здесь, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла и разговаривала с какой-то женщиной на противоположном конце катка. В ее одежде или позе не было ничего особенного, но Левин узнал бы ее в любой толпе. Она словно освещала все вокруг. Она была улыбкой, озарявшей все вокруг. "Неужели я могу выйти на лед, подойти к ней?" — подумал он. Место, где она стояла, казалось ему недоступным святилищем, и на мгновение ему захотелось уйти: так ему стало страшно. Ему пришлось сделать над собой усилие и напомнить себе, что вокруг нее ходят самые разные люди и что он сам может прийти сюда покататься на коньках. Он спустился на лед, стараясь не смотреть на нее слишком долго, как на солнце, но он видел ее, как солнце, даже не глядя.

Он понял, что она здесь, по внезапной радости и тревоге, охватившим его. Она стояла, разговаривая с какой-то женщиной, на другом конце катка. Ничего особенного ни в её куртке, ни в позе; но для Левина узнать её в этой толпе было так же просто, как розу среди сорняков. Она словно освещала всё вокруг. "Неужели я могу выйти на лёд, подойти к ней?" — подумал он. Место, где она стояла, казалось недоступным святилищем, и на мгновение ему стало так страшно, что он чуть не ушёл. Пришлось заставить себя рассудить, что вокруг неё ходят самые

разные люди, и он сам может прийти сюда покататься. Он спустился вниз, стараясь не смотреть на неё слишком долго, как на солнце, но он видел её, как солнце, даже не глядя.

На катке в этот день недели и в это время собирались люди одного круга, почти все знакомые. Были тут и виртуозы, демонстрировавшие мастерство, и новички, державшиеся за бортик с робкими движениями, и дети, и пожилые люди, катавшиеся для здоровья; все они казались Левину избранными счастливыми, потому что были здесь, рядом с ней. Все катающиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли её, догоняли, даже разговаривали с ней и совершенно независимо от неё веселились, наслаждаясь отличным льдом и погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в короткой куртке и обтягивающих штанах, сидел на скамейке, надевая коньки, и, увидев Левина, крикнул ему:

– А, первый русский фигурист! Давно ли? Лёд отличный, надевай коньки.

– У меня и коньков нет, – ответил Левин, удивляясь этой смелости и непринужденности в её присутствии, и ни на секунду не теряя её из виду, хотя и не смотрел на неё. Он чувствовал, как солнце приближается к нему. Она была у бортика и, неуверенно ставя ноги в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Мальчик в спортивном костюме, отчаянно махавший руками и наклонявшийся к земле, обгонял её. Она катилась не совсем уверенно; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Закончив поворот, она оттолкнулась упругой ногой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он её представлял.

Когда он думал о ней, он мог живо представить её всю, особенно прелесть этой небольшой белокурой головки, с выражением детской ясности и доброты, так свободно посаженной на стройной девичьей шее. Детское выражение её лица в сочетании с тонкой красотой фигуры составляли её особенное очарование, которое он хорошо помнил; но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение её глаз, кротких, спокойных и правдивых, и особенно её улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он помнил себя в редкие дни раннего детства.

– Давно вы здесь? – спросила она, протягивая ему руку. – Спасибо, – добавила она, когда он поднял платок, выпавший из её муфты.

– Я? Я недавно, я вчера... сегодня то есть... приехал, – ответил Левин, не сразу поняв её вопрос из-за волнения. – Я хотел к вам заехать, – сказал он и тут же, вспомнив, с каким намерением он искал её, смутился и покраснел. – Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и так хорошо.

Она внимательно посмотрела на него, словно пытаясь понять причину его смущения.

Она внимательно посмотрела на него, словно пытаясь понять, что его смущает.

— Ваша похвала дорогого стоит. Говорят, вы раньше классно катались, — сказала она, стряхивая маленькой рукой в черной перчатке снежинки с муфты.

— Да, когда-то я этим увлекался, хотел достичь совершенства.

— Вы, кажется, все делаете с увлечением, — улыбнулась она. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Давайте, надевайте коньки и покатаемся вместе.

"Вместе? Неужели это возможно?" – подумал Лёвин, глядя на неё.

— Сейчас надену, — сказал он.

И пошёл надевать коньки.

— Давно вас не было, — говорил парень, помогая закрепить ботинок. — После вас таких мастеров не видно. Нормально будет? — спросил он, затягивая ремешок.

— Хорошо, хорошо, побыстрее, пожалуйста, — ответил Лёвин, с трудом сдерживая улыбку счастья. "Да, — думал он, — вот это жизнь, вот оно, счастье! "Вместе", сказала она, "давайте катайтесь вместе". Сказать ей сейчас? Но я и боюсь сказать, потому что сейчас я счастлив, счастлив хотя бы надеждой... А что потом?... Но надо! Надо, надо! Прочь слабость!"

Лёвин встал на ноги, снял куртку и, разбежавшись по шершавому льду у раздевалки, выбежал на гладкий лёд и покатился легко, словно одной лишь силой мысли ускоряя, замедляя и направляя движение. Он приблизился к ней с робостью, но её улыбка снова успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, ускоряя шаг, и чем быстрее они ехали, тем крепче она сжимала его руку.

— С вами я бы быстрее научилась, почему-то я в вас уверена, — сказала она.

— И я уверен в себе, когда вы на меня опираетесь, — сказал он, но тут же испугался своих слов и покраснел. И действительно, как только он это произнёс, её лицо вдруг утратило всю свою приветливость, словно солнце скрылось за тучами, и Лёвин узнал знакомое выражение, означавшее напряжённую работу мысли: на гладком лбу появилась морщинка.

— У вас что-то случилось? Впрочем, я не имею права спрашивать, — быстро проговорил он.

— Почему же?... Нет, ничего не случилось, — ответила она холодно и тут же добавила: — Вы не видели мадам Линон?

— Ещё нет.

— Сходите к ней, она вас так любит.

"Что это? Я её расстроил. Господи, помоги мне!" – подумал Лёвин и пошёл к старой француженке с седыми буклями, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и показывая свои вставные зубы, она встретила его как старого друга.

— Да, вот растём, — сказала она, кивая на Кити, — и стареем. Tiny bear уже выросла! — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трёх девушках, которых он называл тремя медведями из английской сказки. — Помните, вы так говорили?

Он совершенно этого не помнил, но она уже лет десять смеялась над этой шуткой и любила её.

— Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, правда?

Когда Лёвин снова подбежал к Кити, её лицо уже не было строгим, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Лёвину показалось, что в её ласковости был какой-то особенный, нарочито спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о её старой гувернантке, о её странностях, она спросила его о его жизни.

— Неужели вам не скучно зимой в деревне? — спросила она.

— Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не сможет вырваться, как это было в начале зимы.

— Вы надолго приехали? — спросила Кити.

— Вы надолго к нам? – спросила его Катя.

— Не знаю, – ответил он, не особо задумываясь. В голове мелькнула мысль: если поддаться этому её спокойному, дружескому тону, то уедет ни с чем. И он решил взбунтоваться.

— Как это – не знаете?

— Так. От тебя зависит, – выпалил он и тут же пожалел о сказанном.

То ли она не расслышала, то ли сделала вид, но Катя словно споткнулась, пару раз стукнув ногой, и поспешила прочь. Подъехала к Марии Филипповне, что-то ей сказала и направилась к пункту проката коньков.

«Боже мой, что я наделал! Господи, помоги, подскажи, что делать», – мысленно молился Лёвин, чувствуя потребность в движении. Он разбежался и стал выписывать круги на льду.

В этот момент один из парней, лучший из местных фигуристов, с вейпом в зубах, выкатился из кофейни и, разогнавшись, съехал на коньках по ступенькам, грохоча и подпрыгивая. Влетел на лед и, не меняя позы, покатил дальше.

— О, новая фишка! – воскликнул Лёвин и тут же побежал вверх, чтобы повторить трюк.

— Не убейся, с непривычки! – крикнул ему Николай Щербацкий.

Лёвин встал на ступеньки, разбежался и прыгнул вниз, балансируя руками. На последней ступеньке чуть не упал, но, коснувшись льда рукой, сделал резкое движение, выровнялся и, смеясь, покатился дальше.

«Славный, милый», – подумала Катя, выходя из пункта проката с Марией Филипповной и глядя на него с улыбкой, как на любимого брата. «Неужели я виновата? Сделала что-то не так? Говорят – кокетство. Я знаю, что не люблю его, но мне приятно с ним, он такой хороший. Зачем он это сказал?...»

Увидев уходящую Катю и ее мать, встречавшую ее на ступеньках, Лёвин, раскрасневшийся от быстрого движения, остановился и задумался. Снял коньки и догнал их у выхода из парка.

– Очень рада вас видеть, – сказала княгиня. – Четверги у нас по-прежнему.

– Значит, сегодня?

– Будем очень рады, – сухо ответила княгиня.

Сухость эта огорчила Катю, и она не удержалась от желания сгладить холодность матери. Повернула голову и с улыбкой сказала:

– До свидания.

В этот момент Степан Аркадьевич, в модной кепке, с сияющим лицом, входил в парк. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым видом отвечал на ее вопросы о здоровье Даши. Тихо и уныло поговорив с тещей, он выпрямился и взял Лёвина под руку.

– Ну что, поедем? – спросил он. – Я все о тебе думал, очень рад, что ты приехал, – сказал он, многозначительно глядя ему в глаза.

– Поедем, поедем, – ответил счастливый Лёвин, все еще слыша в ушах ее голос: «До свидания», и видя ее улыбку.

– В "Бристоль" или в "Метрополь"?

– Мне все равно.

– Ну, в "Бристоль", – сказал Степан Аркадьевич, выбрав "Бристоль", потому что там у него было больше долгов, чем в "Метрополе". Он считал неправильным избегать этот отель. – У тебя есть такси? Отлично, а то я свою машину отпустил.

Всю дорогу приятели молчали. Лёвин думал о том, что означала эта перемена в выражении лица Кати. То убеждал себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние, видя, что его надежда безумна. Но чувствовал себя другим человеком, не тем, кем был до ее улыбки и слов: "До свидания".

Всю дорогу друзья ехали молча. Лёвин размышлял о том, что значило это мимолетное изменение в выражении лица Кити. То убеждал себя, что надежда есть, то впадал в отчаяние, ясно видя, что его надежды безумны. И всё же он чувствовал себя совсем другим человеком, не таким, каким был до её улыбки и слов: "До свидания".

Степан Аркадьевич тем временем составлял в уме меню обеда.

– Ты ведь любишь камбалу? – спросил он Лёвина, подъезжая к месту.

– Что? – переспросил Лёвин. – Камбалу? Да, я очень люблю камбалу.

Х.

Когда Лёвин вошёл с Облонским в ресторан, он сразу заметил какое-то особое выражение на лице и во всей фигуре Степана Аркадьевича – сдержанное сияние. Облонский снял куртку и, лихо заломив шапку, прошествовал в зал, отдавая распоряжения услужливым официантам в форме. Кланяясь направо и налево знакомым, которые, казалось, всегда и везде его радостно встречали, он подошёл к бару, выпил рюмку водки с бутербродом с рыбой и что-то сказал крашеной блондинке в ленточках и кружевах, сидевшей за кассой, что даже она искренне рассмеялась. Лёвин же не стал пить водку только потому, что ему была неприятна эта женщина, вся, казалось, состоящая из накладных волос и дешёвой косметики. Он поспешно отошёл от неё,

как от грязного места. Вся его душа была переполнена воспоминаниями о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.

– Сюда, ваше сиятельство, сюда, здесь вас никто не побеспокоит, – говорил особенно услужливый пожилой официант с широкой талией и расходящимися фалдами пиджака. – Сюда, ваше сиятельство, – говорил он Лёвину, оказывая знаки почтения к Степану Аркадьевичу, ухаживая и за его гостем.

Мгновенно расстелив свежую скатерть на круглом столе под бронзовой люстрой, он подвинул мягкие стулья и замер перед Степаном Аркадьевичем с салфеткой и меню в руках, ожидая приказаний.

– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас освободится: там депутат Петренко с помощницей. Устрицы свежие привезли.

– А! Устрицы...

Степан Аркадьевич задумался.

– Может, изменим план, Лёвин? – сказал он, остановив палец на меню. И лицо его выражало серьёзное раздумье. – Хороши ли устрицы? Ты посмотри.

– Французские, ваше сиятельство, местных нет.

– Французские-то французские, да свежие ли?

– Сегодня получили-с.

– Так что, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

– Мне всё равно. Мне бы шей да каши, но тут этого нет.

– Кашу "а-ля рус", прикажете? – сказал официант, как нянька над ребёнком, наклоняясь над Лёвиным.

– Да нет, серьёзно, что ты выберешь, то и хорошо. Я на коньках покатался, проголодался. И не думай, – добавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – что я не оценю твой выбор. Я с удовольствием поем что-нибудь вкусное.

– Ещё бы! Что ни говори, это одно из немногих удовольствий в жизни, – сказал Степан Аркадьевич. – Ну, так давай нам, братец ты мой, устриц две, или мало – три дюжины, суп овощной...

– "Прентаньер", – подхватил официант. Но Степан Аркадьевич, видно, не хотел доставлять ему удовольствие, называя блюда по-французски.

– С овощами, знаешь? Потом камбалу под соусом, потом... ростбиф; да смотри, чтобы хороший был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

– Может, с грибами лесными? А потом палтуса под соусом сливочным, потом... ростбиф, но смотри, чтобы прожарка была правильная. И перепелов, что ли, ну и закусочка разных.

Официант, помня привычку Степана Аркадьича не называть блюда по меню, не стал повторять за ним, но с удовольствием перечислил весь заказ по карте: «Суп овощной, палтус под сливочным соусом, перепела с травами, фруктовый салат...» И тут же, словно на пружинах, отложив одно меню и подхватив другое, винную карту, поднес ее Степану Аркадьичу.

– Что пить будем?

– Мне что угодно, только немного, шампанского, – сказал Левин.

– Как? Сразу? А впрочем, да, пожалуй. Ты какое любишь, брют?

– Брют, – подтвердил официант.

– Ну, тогда его к устрицам подай, а там посмотрим.

– Слушаю-с. Вино какое к основным блюдам?

– Нуи-Сен-Жорж? Нет, лучше классическое Шабли.

– Слушаю-с. Сыр какой посоветуете?

– Ну да, пармезан. Или ты другой предпочитаешь?

– Мне все равно, – с трудом сдерживая улыбку, ответил Левин.

И официант, взмахнув полотенцем, умчался и через пять минут вернулся с блюдом устриц, разложенных на раковинах, и бутылкой игристого, зажатой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее за воротник и, удобно устроившись, принялся за устрицы.

– А неплохи, – говорил он, поддевая серебряной вилочкой скользких устриц с раковины и проглатывая их одну за другой. – Неплохи, – повторял он, поднимая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на официанта.

Левин тоже ел устрицы, хотя белый хлеб с сыром показался бы ему вкуснее. Но он любовался Облонским. Даже официант, откупоривший бутылку и разливавший игристое по высоким узким бокалам, с заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

– А ты не очень любишь устрицы? – спросил Степан Аркадьич, осушив свой бокал, – или ты чем-то озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин развеселился. Но Левин был не то чтобы невесел, он чувствовал себя не в своей тарелке. С тем, что было у него на душе, ему было жутко и неловко в ресторане, среди столиков, где обедали парочки, среди этой беготни официантов; вся эта обстановка – бронза, зеркала, свет, официанты – все это казалось ему чуждым. Он боялся замарать то, что переполняло его душу.

– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, мне здесь неуютно, – сказал он. – Ты не представляешь, как для меня, деревенского жителя, все это странно, как ногти того типа, которого я видел у тебя...

– Да, я заметил, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Не могу, – ответил Левин. – Ты попробуй понять, встань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое состояние, чтобы ими было удобно работать; для этого стрижем ногти, закатываем рукава. А тут люди специально отращивают ногти, насколько это возможно, и надевают на них какие-то браслеты, чтобы уж точно ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

– Ну, это признак того, что тяжелый труд ему не нужен. У него работает голова...

– Может быть. Но все равно мне странно, так же, как мне странно то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии работать, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель прогресса: из всего сделать удовольствие.

– Ну, если это цель, то я предпочел бы остаться дикарем.

– Ты и так дикарь. Вы все Левины дикари.

– Да ты как из леса. Все ваши Левины такие.

Левин вздохнул. Вспомнил брата Колю, и стало стыдно и неловко. Нахмурился, но Облонский перевел разговор на другое.

– Ну что, вечером к нашим, к Щербацким, поедешь? – спросил он, отодвигая пустые тарелки и придвигая сыр. Глаза блестели.

– Да, обязательно, – ответил Левин. – Хотя мне показалось, княгиня не очень-то меня звала.

– Да брось ты! Глупости! Это у нее манера, *grande dame*, – отмахнулся Степан Аркадьевич. – Я тоже заеду, но мне еще на репетицию к графине Бониной надо. Ну вот скажи, почему ты такой дикий? Как объяснить, что ты вдруг из Москвы пропал? Щербацкие меня о тебе постоянно спрашивали, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты всегда делаешь не как все.

– Да, – медленно и взволнованно сказал Левин. – Ты прав, я дикий. Но дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я вернулся. Вернулся я...

– Ах ты, счастливец! – перебил Степан Аркадьевич, глядя Левину прямо в глаза.

– Почему?

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьевич. – У тебя все еще впереди.

– А у тебя, что, уже позади?

– Нет, не позади, но у тебя будущее, а у меня настоящее – так, перебиваюсь.

– А что такое?

– Да неважно. Не хочу о себе, да и не объяснишь всего, – сказал Степан Аркадьевич. – Так зачем ты в Москву приехал? Эй, принимай! – крикнул он официанту.

– Ты догадываешься? – спросил Левин, не отрывая от Степана Аркадьевича взгляда.

– Догадываюсь, но не решаюсь об этом говорить. Впрочем, по моей реакции ты сам поймешь, прав я или нет, – сказал Степан Аркадьевич с тонкой улыбкой.

– Ну и что ты мне скажешь? – спросил Левин дрожащим голосом, чувствуя, как у него дергаются мышцы лица. – Как ты на это смотришь?

Степан Аркадьевич медленно выпил свой бокал шабли, не сводя глаз с Левина.

– Я? – сказал он. – Я ничего так не желал бы, как этого. Это лучшее, что могло бы случиться.

– Но ты не ошибаешься? Ты понимаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь взглядом в собеседника. – Ты думаешь, это возможно?

– Думаю, возможно. Почему нет?

– Нет, ты точно так думаешь? Скажи все, что думаешь! А если, если мне откажут? Я даже уверен...

– Почему ты так думаешь? – улыбаясь его волнению, спросил Степан Аркадьевич.

– Просто мне иногда так кажется. Ведь это будет ужасно и для меня, и для нее.

– Ну, в любом случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Любая девушка гордится предложением.

– Да, любая, но не она.

Степан Аркадьевич улыбнулся. Он прекрасно понимал чувства Левина. Знал, что для него все девушки в мире делятся на два типа: все девушки в мире, кроме нее, – обычные, со всеми человеческими слабостями; и она одна – без слабостей, превыше всего человеческого.

– погоди, возьми соус, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал соус от себя.

Левин покорно положил себе соуса, но есть не стал.

Левин послушно налил себе соуса, но не дал есть Стивену Аркадьичу.

– Нет, погоди, погоди, – сказал он. – Ты пойми, это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем об этом не говорил. И ни с кем не могу говорить об этом, как с тобой. Ведь мы с тобой вроде чужие: другие вкусы, взгляды, всё; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но, ради бога, будь откровенен.

– Я тебе говорю, что думаю, – сказал Стивен Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу: моя жена — удивительная женщина... — Стивен Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женой, и, помолчав с минуту, продолжал: — У неё есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, — она знает, что будет, особенно в части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто не верил, а так и вышло. И она — на твоей стороне.

— То есть как?

— Так, что она мало того, что любит тебя, — она говорит, что Кити будет твоей женой непременно.

При этих словах лицо Лёвина вдруг озарилось улыбкой, той, которая близка к слезам умиления.

— Она это говорит! — воскликнул Лёвин. — Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, — сказал он, вставая с места.

— Хорошо, но садись же.

Но Лёвин не мог сидеть. Он прошёлся два раза своими твёрдыми шагами по маленькой комнате, поморгал глазами, чтобы не видно было слёз, и тогда только сел опять за стол.

— Ты пойми, — сказал он, — что это не любовь. Я был влюблён, но это не то. Это не моё чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я боролся с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

— Для чего же ты уезжал?

— Ах, погоди! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже противен стал; я всё забыл. Я сегодня узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы — старые, уже с прошлым... не любви, а ошибок... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

— Ну, у тебя ошибок немного.

— Ах, всё-таки, — сказал Лёвин, — всё-таки...

— Что ж делать, так мир устроен, — сказал Стивен Аркадьич.

— Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.

XI.

Лёвин выпил свой бокал, и они помолчали.

— Ещё одно я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? — спросил Стивен Аркадьич Лёвина.

— Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

— Подай ещё, — обратился Стивен Аркадьич к официанту, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них именно тогда, когда его не нужно было.

— Зачем мне знать Вронского?

— А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

— Что такое Вронский? — сказал Лёвин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

— Что за Вронский такой? — спросил Левин, и выражение его лица, только что светившееся детской радостью, сменилось на злое и неприятное.

— Вронский? Один из сыновей Кирилла Ивановича Вронского, генерала, и типичный представитель золотой молодежи Петербурга. Я с ним познакомился в Твери, когда служил там, а он приезжал по делам мобилизации. Безумно богат, красив, связи на самом верху, адъютант какой-то важной шишки. Но при этом вполне приятный и простой парень. Даже больше, чем просто приятный. Как я понял, он образован, умен, далеко пойдёт.

Левин нахмурился и промолчал.

— Так вот, он появился здесь вскоре после твоего приезда, и, насколько я вижу, он по уши влюблен в Кити. И, сам понимаешь, мамаша...

— Прости, но я ничего не понимаю, — перебил Левин, мрачно сдвинув брови. И тут же вспомнил о брате Николае и почувствовал укол совести за то, что мог о нем забыть.

— Погоди, погоди, — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его за руку. — Я говорю лишь то, что вижу. И повторюсь: в этом тонком и деликатном деле, насколько я могу судить, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся на спинку стула, лицо его побледнело.

— Но я бы советовал тебе поторопиться с решением, — продолжал Облонский, подливая ему вина.

— Нет, спасибо, больше не могу, — сказал Левин, отодвигая бокал. — Опьянею... Ну, а ты как? — спросил он, явно желая сменить тему.

— Еще одно: в любом случае, советую решить вопрос как можно скорее. Сегодня, пожалуй, не стоит. — сказал Степан Аркадьич. — Завтра утром, как положено, поезжай делать предложение. Да благословит тебя Бог...

— Ты же вроде собирался ко мне на охоту? Приезжай весной, — предложил Левин.

Теперь он искренне жалел, что завел этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его сокровенное чувство было осквернено упоминанием какого-то столичного офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что творится в душе Левина.

— Приеду как-нибудь, — ответил он. — Да, брат, женщины — это тот винт, на котором все держится. У меня вот тоже дела плохи, очень плохи. И все из-за женщин. Скажи мне честно, — продолжал он, доставая сигару и держа бокал в другой руке, — дай совет.

— В чем дело?

— Вот в чем. Допустим, ты женат, любишь жену, но увлекся другой женщиной...

— Прости, но я абсолютно этого не понимаю... Это как если бы я сейчас, объевшись, пошел мимо ларька с шаурмой и украл бы ее.

Глаза Степана Аркадьича заблестели ярче обычного.

— Почему же? Шаурма иногда так пахнет, что невозможно удержаться.

*Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen

Meine irdische Begier;

Aber noch wenn's nicht gelungen,

Hatt'ich auch recht hübsch Plaisir!*

Произнося это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

— Да, но без шуток, — продолжал Облонский. — Ты пойми, что женщина — милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая, всем пожертвовала. И теперь, когда уже все случилось, неужели ее бросить? Допустим, расстаться, чтобы не разрушить семью. Но неужели не пожалеть ее, не помочь, не смягчить удар?

— Ну, извини. Знаешь, для меня все женщины делятся на два типа... то есть нет... вернее: есть женщины, а есть... Я никаких падших ангелов не встречал и не встречу. А такие, как та крашенная дама у стойки, с накрученными волосами, — для меня просто мерзкие типы, и все падшие такие же.

— А евангельская грешница?

— А как же заповеди?

— Ой, да брось! Если бы Христос знал, как этими словами будут манипулировать, он бы их никогда не произнес. Из всего Евангелия только эту фразу и помнят. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. У меня отвращение к этим... ну, ты понял. Ты, наверное, боишься дронов-камикадзе, а я этих... Ты же не изучал тактику применения дронов, вот и я тоже.

— Хорошо тебе рассуждать. Это как тот чувак из мема, который перекидывает все сложные вопросы через плечо. Но отрицать реальность — не выход. Что делать-то, скажи мне? Жена стареет, а я полон сил. Не успеешь оглянуться, как поймешь, что не можешь любить жену как

раньше, как бы ты ее ни уважал. А тут вдруг – бац! – любовь, и ты пропал, пропал! – с тоской произнес Степан Аркадьевич.

Левин усмехнулся.

— Да, пропал, – продолжал Облонский. – Но что делать?

— Не воруй гуманитарку.

Степан Аркадьевич рассмеялся.

— Ну ты и моралист! Пойми, есть две женщины: одна требует только своих прав, и право это – твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует всем и ничего не просит взамен. Что делать? Как быть? Тут настоящая драма.

— Если тебе нужна моя исповедь, то я скажу, что не верю в драму. Вот почему. По моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон описывал в своем "Пире", обе любви – это как лакмусовая бумажка для людей. Одни понимают только одну, другие – другую. И те, кто понимает только приземленную любовь, зря говорят о драме. В такой любви драмы быть не может. "Спасибо за приятно проведенное время, всего хорошего", вот и вся драма. А в платонической любви драмы нет, потому что там все ясно и чисто, потому что...

В этот момент Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И неожиданно добавил:

— А впрочем, может, ты и прав. Вполне возможно... Но я не знаю, правда не знаю.

— Вот видишь, – сказал Степан Аркадьевич, – ты очень цельный человек. Это и твоя сила, и твоя слабость. Ты сам такой и хочешь, чтобы вся жизнь состояла из цельных явлений, а так не бывает. Ты презираешь работу в администрации, потому что хочешь, чтобы дело всегда соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь, чтобы работа человека всегда имела смысл, чтобы любовь и семья всегда были одним целым. А так не бывает. Вся прелесть, вся красота жизни – в контрасте света и тени.

Левин вздохнул и промолчал. Он думал о своем и не слушал Облонского.

И вдруг они оба почувствовали, что, хотя они и друзья, хотя они вместе обедали и пили вино, которое должно было бы их сблизить, каждый думает только о своем, и другому нет дела. Облонский не раз испытывал это чувство отчуждения после обеда и знал, что нужно делать.

— Счет! – крикнул он и вышел в соседний зал, где тут же встретил знакомого волонтера и заговорил с ним о последней поставке дронов на фронт. И сразу же в разговоре с волонтером Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который всегда требовал от него слишком большого умственного и душевного напряжения.

— Счёт! — крикнул Степан Аркадьевич и вышел из-за столика в общий зал. Там он сразу же наткнулся на знакомого из администрации и увлёкся разговором о новой ведущей Telegram-канала и её спонсоре. В беседе с ним Облонский почувствовал облегчение после напряжённого разговора с Левиным, который всегда заставлял его слишком много думать.

Когда официант принёс счёт на три тысячи с лишним рублей, включая наценку за настойки, Левин, которого в обычное время, как человека, живущего в деревне, ужаснула бы его доля в полторы тысячи, не обратил на это внимания, расплатился и поехал домой, чтобы переодеться и отправиться к Щербацким, где должна была решиться его судьба.

ХII.

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Это был её первый сезон. Её успех в обществе превзошёл успехи обеих старших сестёр и даже ожидания княгини. Практически все молодые люди, посещавшие московские вечеринки, были влюблены в Кити, и уже в первый сезон у неё появилось два серьёзных поклонника: Левин и, вскоре после его отъезда, Вронский.

Появление Левина в начале сезона, его частые визиты и очевидная симпатия к Кити стали поводом для первых серьёзных разговоров между родителями Кити о её будущем и для споров между князем и княгиней. Князь поддерживал Левина, говоря, что не желает для Кити лучшего мужа. Княгиня же, как это часто бывает у женщин, уходила от прямого ответа, говоря, что Кити

ещё слишком молода, что Левин не проявляет серьёзных намерений, что Кити не испытывает к нему привязанности, и приводила другие аргументы, но не говорила главного: она ждала для дочери более выгодной партии, Левин был ей несимпатичен, и она не понимала его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня обрадовалась и с торжеством сказала мужу: «Видишь, я была права». А когда появился Вронский, она обрадовалась ещё больше, убедившись в своём мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, а блестящую партию.

Для матери не могло быть и речи о сравнении Вронского и Левина. Княгине не нравились странные и резкие суждения Левина, его неловкость в обществе, основанная, как она считала, на гордости, и его, по её мнению, дикая жизнь в деревне, с фермой и рабочими. Ей также не нравилось, что он, влюблённый в её дочь, приезжал в дом полтора месяца, чего-то ждал, высматривал, как будто боялся, не будет ли слишком большой честью сделать предложение, и не понимал, что, посещая дом, где есть девушка на выданье, нужно объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он такой непривлекательный, что Кити не влюбилась в него», — думала мать.

Вронский отвечал всем желаниям матери. Очень богат, умён, из влиятельной семьи, строит карьеру в министерстве и к тому же обаятельный человек. Нельзя было желать лучшего.

Вронский на вечеринках явно ухаживал за Кити, танцевал с ней и приезжал в дом, так что не оставалось сомнений в серьёзности его намерений. Но, несмотря на это, мать всю зиму жила в тревоге и волнении.

Вронский на вечеринках явно оказывал знаки внимания Кити, танцевал только с ней и подвозил до дома – казалось бы, в серьёзности его намерений сомневаться не приходилось. Но мать, княгиня Щербацкая, всю эту зиму жила в страшном напряжении и тревоге.

Сама она вышла замуж тридцать лет назад, по классической схеме: жених был известен заранее, приехал знакомиться, произвел хорошее впечатление, сваха передала взаимные симпатии, и вскоре последовало предложение. Все прошло гладко и предсказуемо. По крайней мере, так ей казалось тогда. Но на примере старших дочерей, Дарьи и Натальи, она убедилась, как непросто это, кажущееся обыденным, дело – выдать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько нервов потрачено, сколько денег ушло, сколько споров с мужем возникло! Теперь, когда пришло время младшей, Кити, все повторилось, но в еще более острой форме. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетивен в вопросах чести и репутации дочерей. Он болезненно ревновал их, особенно Кити, свою любимицу, и постоянно устраивал княгине сцены, обвиняя ее в том, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но сейчас чувствовала, что у придирок князя появились новые основания. Она видела, как изменились нравы в обществе, как усложнились обязанности матери. Сверстницы Кити посещали какие-то курсы, свободно общались с парнями, самостоятельно передвигались по городу, многие даже не считали нужным соблюдать формальности, и, главное, были уверены, что выбор мужа – это их личное дело, а не родителей. "Сейчас уже не выдают замуж, как раньше", – говорили все эти юные особы, да и многие люди постарше. Но как именно "сейчас" выдают замуж, княгиня не могла понять. Французский обычай – решать судьбу детей за них – был отвергнут. Английская модель – полная свобода выбора для девушки – тоже не прижилась в российском обществе. Традиционное русское сватовство казалось чем-то устаревшим и смешным. Но как же тогда поступать? Все, с кем княгине приходилось обсуждать этот вопрос, твердили одно: "Помилуйте, в наше время пора оставить эти пережитки прошлого. Ведь в брак вступают молодые люди, а не родители, значит, и решать им, как лучше". Легко говорить тем, у кого нет дочерей. Княгиня понимала, что дочь может влюбиться, и влюбиться не в того, кто предложит руку и сердце, или в того, кто совсем не подходит на роль мужа. И сколько бы ей ни внушали, что сейчас молодые люди сами строят свою судьбу, она не могла в это поверить, как не поверила бы, что пятилетним детям лучше всего играть с боевыми гранатами. Поэтому за Кити княгиня переживала гораздо больше, чем за старших дочерей.

Княгиня вышла замуж лет тридцать назад, по протекции тетки-свахи. Жених, о котором все было заранее известно, приехал, увидел невесту, и его увидели; тетка-сваха узнала и передала взаимное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день родителям сделали ожидаемое предложение, и те его приняли. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере, так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как нелегко и непросто это, кажущееся обыденным, дело – выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при устройстве судьбы старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при подготовке к замужеству младшей, переживались те же страхи, те же сомнения и даже большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и репутации своих дочерей; он был излишне ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимицей, и постоянно устраивал княгине сцены за то, что она, по его мнению, компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в нравах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что ровесницы Кити собираются в какие-то группы, ходят на какие-то курсы, свободно общаются с мужчинами, ездят одни по городу, многие не стесняются в выражениях и, главное, все твердо уверены, что выбор мужа – это их дело, а не родителей. «Сейчас уже не выдают замуж, как прежде», – думали и говорили все эти молодые девушки и даже некоторые люди постарше. Но как же сейчас выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай – когда родители решают судьбу детей – был не принят, осуждался. Английский обычай – полной свободы девушки – был тоже не принят и невозможен в российском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то устаревшим, над ним смеялись все, включая саму княгиню. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось говорить об этом, твердили одно: «Помилуйте, в наше время пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; значит, и надо дать молодым людям устраиваться, как они знают». Но легко было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла в это поверить, как не могла бы поверить в то, что в любое время для пятилетних детей лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась о Кити больше, чем о старших дочерях.

Теперь она боялась, что ухаживания Вронского не приведут ни к чему серьезному. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он порядочный человек и не станет играть чувствами девушки. Но вместе с тем она знала, как при нынешней свободе нравов легко вскружить голову девушке и как легкомысленно мужчины относятся к подобным вещам. На прошлой неделе Кити рассказала матери о своем разговоре с Вронским во время танцев. Этот разговор отчасти успокоил княгиню, но полностью спокойной она быть не могла. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с ней. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», – сказал он.

Теперь княгиня боялась, как бы ухаживания Вронского не ограничились простым флиртом с её дочерью. Она видела, что Китти уже увлечена им, но надеялась, что он порядочный человек и не позволит себе лишнего. В то же время она понимала, как легко сейчас, при нынешней свободе нравов, вскружить голову девушке, и как мужчины порой легкомысленно относятся к подобным вещам. На прошлой неделе Китти пересказала матери свой разговор с Вронским во время мазурки. Этот разговор немного успокоил княгиню, но тревога полностью не ушла. Вронский сказал Китти, что они с братом привыкли во всём советоваться с матерью и не

решатся на серьёзный шаг без её одобрения. "И теперь я жду приезда матушки из Петербурга как особенного счастья", – сказал он.

Китти рассказала это, не придав словам особого значения. Но мать поняла иначе. Она знала, что свекровь ждёт со дня на день, знала, что та будет рада выбору сына, и ей казалось странным, что он, боясь обидеть мать, не делает предложения. Однако ей так хотелось этого брака и, главное, покоя от своих тревог, что она верила в это объяснение. Как ни горько было княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, собиравшейся уйти от мужа, волнение о судьбе младшей дочери поглощало её чувства. Сегодняшний день, с приездом Левина, добавил ей новых беспокойств. Она боялась, что дочь, которая, как ей казалось, когда-то испытывала чувства к Левину, из излишней честности откажет Вронскому, и вообще, что приезд Левина запутает дело, которое так близко к завершению.

– Он давно приехал? – спросила княгиня о Левине, когда они вернулись домой.

– Сегодня, мама.

– Я только хочу сказать... – начала княгиня, и по её оживлённому лицу Китти поняла, о чём пойдёт речь.

– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро повернувшись к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говори ничего об этом. Я знаю, я всё знаю.

Она желала того же, чего и мать, но мотивы желания матери её задевали.

– Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...

– Мама, милая, ради Бога, не говори. Так страшно говорить об этом.

– Не буду, не буду, – сказала мать, увидев слёзы на глазах дочери, – но одно, моя дорогая: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайн. Не будет?

– Никогда, мама, никаких, – ответила Китти, покраснев и глядя прямо в лицо матери.

– Но мне нечего говорить сейчас. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать... как... я не знаю...

"Нет, не может она лгать с такими глазами", – подумала мать, улыбаясь её волнению и счастью. Княгиня улыбалась тому, как огромно и важно кажется ей, бедняжке, то, что происходит сейчас в её душе.

ХIII.

После обеда и до начала вечера Китти испытывала чувство, подобное тому, что испытывает новобранец перед отправкой на фронт. Сердце её билось сильно, и мысли не могли ни на чём сосредоточиться.

Китти после обеда и до самого вечера ощущала состояние, похожее на то, что чувствует новобранец перед отправкой на фронт. Сердце колотилось, мысли скакали, не задерживаясь ни на чем.

Она чувствовала, что этот вечер, когда они впервые встретятся после долгой разлуки, может стать решающим в её жизни. Она то и дело представляла их обоих, то по отдельности, то вместе. Когда она думала о прошлом, то с удовольствием и нежностью вспоминала свои отношения с Левиным. Воспоминания о детстве и о дружбе Левина с её погибшим братом придавали особую трогательность их связи. Его любовь к ней, в которой она была уверена, льстила и радовала ее. О Левине вспоминать было легко. А вот в воспоминания о Вронском примешивалось что-то неловкое, хотя он был очень обходительным и уверенным в себе человеком; как будто что-то было не совсем искренним – не в нем самом, он был вполне приятен, – а в ней самой. С Левиным же она чувствовала себя совершенно естественно и открыто. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, перед ней открывалась перспектива яркой и счастливой жизни; а с Левиным будущее казалось туманным.

Поднимаясь вверх, чтобы переодеться к вечеру, и взглянув в зеркало, она с радостью отметила, что сегодня она выглядит особенно хорошо и полна сил, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала внутреннее спокойствие и легкость в движениях.

Около половины восьмого, как только она спустилась в гостиную, дежурный доложил: "Константин Дмитриевич Левин". Мать еще была у себя, отец не выходил. "Так и есть", – подумала Китти, и кровь бросилась ей в лицо. Она испугалась своей бледности, взглянув в зеркало.

Теперь она точно знала, что он приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут впервые вся ситуация предстала перед ней совершенно в другом свете. Только сейчас она поняла, что вопрос касается не только ее личного счастья и того, кого она любит, но и того, что сейчас она должна обидеть человека, который ее любит. И обидеть жестоко... За что? За то, что он, такой хороший, любит ее, влюблен в нее. Но ничего не поделаешь, так нужно, так должно быть.

"Боже мой, неужели я сама должна ему это сказать? – подумала она. – Что я ему скажу? Неужели я скажу, что не люблю его? Это будет неправда. Что же мне сказать? Сказать, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду".

Она уже направилась к двери, когда услышала его шаги. "Нет! Это нечестно. Чего мне бояться? Я ничего плохого не сделала. Будь что будет! Скажу правду. С ним не может быть неловко". Вот он, сказала она себе, увидев его высокую, немного смущенную фигуру и блестящие, устремленные на нее глаза. Она прямо посмотрела ему в лицо, как бы прося о пощаде, и подала руку.

– Я, кажется, не вовремя, слишком рано, – сказал он, оглядывая пустую гостиную. Когда он понял, что его ожидания оправдались, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его помрачнело.

– О нет, – сказала Китти и села за стол.

– Я и хотел застать вас одну, – начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелость.

– Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не отрывая от него умоляющего и ласкового взгляда.

Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

– Я говорил вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это зависит от вас...

— Я же сказал, не знаю, надолго ли я тут... Это от тебя зависит...

Она опустила голову еще ниже, не зная, что ответить.

— От тебя зависит, — повторил он. — Я хотел сказать... Я приехал, чтобы... чтобы ты стала моей женой! — выпалил он, сам не веря своим словам. Но, почувствовав, что самое страшное произнесено, замолчал и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, избегая его взгляда. Ее переполняло волнение. Она не ожидала, что его признание произведет на нее такой эффект. Но это длилось лишь мгновение. Она вспомнила о другом. Подняв на Левина свои ясные, честные глаза, и увидев его отчаянное лицо, поспешно ответила:

— Это невозможно... Прости меня.

Еще минуту назад она была так близка ему, так важна для его жизни! А теперь стала чужой и далекой.

— Так и должно было быть, — сказал он, не глядя на нее.

Он поклонился и повернулся, чтобы уйти.

XIV.

В этот момент вышла ее мать. На ее лице отразился ужас, когда она увидела их наедине и их расстроенные лица. Левин поклонился ей, не говоря ни слова. Китти молчала, не поднимая глаз. "Слава Богу, отказала", — подумала мать, и ее лицо озарила привычная улыбка, с которой она встречала гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел снова, ожидая приезда гостей, чтобы незаметно уйти.

Через пять минут вошла подруга Кити, вышедшая замуж прошлой зимой, графиня Нордстон.

Это была худая, болезненная и нервная женщина с черными блестящими глазами. Она любила Кити, и ее любовь, как это часто бывает у замужних женщин к девушкам, выражалась в желании выдать Кити замуж по своему представлению о счастье. Левин, которого она часто встречала у них зимой, всегда был ей неприятен. При встрече с ним она любила подшучивать над ним.

— Мне нравится, когда он смотрит на меня свысока: либо прекращает свой умный разговор, потому что я глупа, либо снисходит до меня. Я это очень люблю: снисходит! Я рада, что он меня терпеть не может, — говорила она о нем.

Она была права, потому что Левин действительно не любил ее и презирал за то, чем она гордилась, — за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным сложились те отношения, которые часто встречаются в обществе: два человека, сохраняя внешне дружелюбный вид, презирают друг друга настолько, что не могут даже серьезно разговаривать и не могут быть оскорблены друг другом.

Графиня Нордстон тут же набросилась на Левина.

— А! Константин Дмитриевич! Снова приехали в наш развратный Вавилон, — сказала она, протягивая ему свою маленькую, желтую руку и вспоминая его слова, сказанные зимой, что Москва — это Вавилон. — Что, Вавилон исправился или вы испортились? — добавила она, с усмешкой глядя на Кити.

— Мне очень приятно, графиня, что вы так хорошо помните мои слова, — ответил Левин, успевший прийти в себя и тут же перешедший к своему шутливо-враждебному отношению к графине Нордстон. — Видимо, они произвели на вас сильное впечатление.

— Ах, да! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?..

— Ах, да-да! Я всё конспектирую. Ну что, Китюша, ты опять на полигоне дроны запускала?

И она переключилась на Кити. Левину было неловко уйти, но остаться и видеть, как Кити украдкой поглядывает на него и отводит взгляд, было ещё тяжелее. Он собрался встать, но княгиня, заметив его молчание, обратилась к нему:

— Вы надолго в Москве? Вы же, кажется, волонтерством занимаетесь, вам нельзя надолго отрываться.

— Нет, княгиня, я больше не волонтер, — ответил он. — Приехал на пару дней.

"Что-то с ним не так, — подумала графиня Нордстон, изучая его серьёзное, сосредоточенное лицо. — Не включается в разговор. Но я его расшевелю. Обожаю ставить его в неловкое положение перед Кити, и сейчас это сделаю".

— Константин Дмитриевич, — обратилась она к нему, — объясните мне, пожалуйста, вот что, вы же в этом разбираетесь: у нас в Калужской области все мужики и бабы всё, что могли, продали и деньги на это пропили, теперь ничего не платят. Что это значит? Вы же так хвалите народ.

В этот момент в комнату вошла ещё одна дама, и Левин поднялся.

— Простите, графиня, но я, честно говоря, ничего об этом не знаю и не могу вам ничего сказать, — сказал он и посмотрел на вошедшего вслед за дамой военного.

"Это, должно быть, Вронский", — подумал Левин и, чтобы убедиться, посмотрел на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и перевела взгляд на Левина. И по одному этому взгляду, по блеску в её глазах, Левин понял, что она любит этого человека. Понял так же ясно, как если бы она сказала это вслух. Но кто же этот человек?

Теперь, хорошо это или плохо, Левин не мог уйти. Ему нужно было узнать, кто этот человек, которого она любит.

Есть люди, которые, встречая своего соперника, преуспевающего в чём-либо, сразу же отворачиваются от всего хорошего в нём и видят только плохое. А есть те, кто, наоборот, стремится найти в этом счастливом сопернике те качества, благодаря которым он победил, и ищет в нём с шемящей болью в сердце хоть что-то хорошее. Левин относился ко вторым. И ему не составило труда найти хорошее и привлекательное во Вронском. Это сразу бросилось в глаза. Вронский был невысокий, крепко сложенный брюнет с добродушным, красивым, очень спокойным и уверенным лицом. Во всём его облике, от коротко стриженных чёрных волос и свежесвыбритого подбородка до идеально сидящей новой формы, чувствовалась простота и элегантность. Пропустив вошедшую даму, Вронский подошёл к княгине, а затем к Кити.

Когда он подходил к ней, его красивые глаза особенно нежно заблестели, и с едва заметной счастливой и скромно-торжествующей улыбкой (так показалось Левину), почтительно и осторожно наклонившись над ней, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.

Поздоровавшись со всеми и обменявшись несколькими словами, он сел, ни разу не взглянув на Левина, который не сводил с него глаз.

— Позвольте представить, — сказала княгиня, указывая на Левина. — Константин Дмитриевич Левин. Алексей Кириллович Вронский.

Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.

— Кажется, мы должны были этой зимой вместе обедать, — сказал он, улыбаясь своей простой и открытой улыбкой, — но вы неожиданно уехали в деревню.

— Константин Дмитриевич презирает и ненавидит город и нас, горожан, — сказала графиня Нордстон.

— Должно быть, мои слова произвели на вас сильное впечатление, раз вы их так хорошо помните, — сказал Левин и, вспомнив, что он уже говорил это раньше, покраснел.

— Вижу, мои слова вас зацепили, раз так хорошо их помните, — сказал Лёвин и, осознав, что уже повторялся, слегка покраснел.

Вронский перевёл взгляд на Лёвина, потом на графиню Нордстон и улыбнулся.

— Вы всегда в деревне живёте? — спросил он. — Зимой, наверное, скучно?

— Не скучно, когда есть чем заняться. Да и с самим собой не бывает скучно, — резко ответил Лёвин.

— Я люблю деревню, — сказал Вронский, делая вид, что не замечает колкости в голосе Лёвина.

— Но надеюсь, граф, вы бы не согласились жить в деревне постоянно, — заметила графиня Нордстон.

— Не знаю, долго не пробовал. У меня странное чувство, — продолжал он. — Нигде так не скучал по деревне, по нашей русской глубинке, как когда с матушкой зиму в Ницце провёл. Ницца сама по себе быстро надоедает. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткий срок. А там особенно остро вспоминается Россия, и именно деревня. Это как...

Он говорил, обращаясь то к Кити, то к Лёвину, и взгляд его был спокоен и дружелюбен. Говорил о том, что приходило в голову.

Заметив, что графиня Нордстон хочет что-то сказать, он замолчал на полуслове и внимательно её выслушал.

Разговор не утихал ни на минуту, так что старой княгине, у которой всегда наготове были две тяжёлые "артиллерийские установки" на случай отсутствия темы – классическое и реальное образование, а также всеобщая воинская обязанность, – не пришлось их использовать. И графине Нордстон не пришлось поддразнивать Лёвина.

Лёвин хотел, но не мог вклиниться в общий разговор. Каждую минуту он говорил себе: "Пора уходить", но не уходил, чего-то ожидая.

Разговор перешёл на тему "говорящих столов" и духов, и графиня Нордстон, увлекавшаяся спиритизмом, стала рассказывать о чудесах, которые она видела.

— Ах, графиня, умоляю, свозите меня к этим медиумам! Я никогда ничего необычного не видел, хотя и ищу повсюду, — с улыбкой сказал Вронский.

— Хорошо, в следующую субботу, — ответила графиня Нордстон. — А вы, Константин Дмитриевич, верите? — спросила она Лёвина.

— Зачем вы спрашиваете? Вы же знаете, что я отвечу.

— Но я хочу услышать ваше мнение.

— Моё мнение таково, — ответил Лёвин, — что эти "говорящие столы" доказывают, что так называемое образованное общество ничем не лучше деревенских жителей. Те верят в сглаз, порчу и привороты, а мы...

— Ну и что? Вы не верите?

— Не могу верить, графиня.

— Но если я сама видела?

— А бабки рассказывают, как они сами видели домовых.

— Так вы думаете, я говорю неправду?

И она невесело засмеялась.

— Да нет, Маша, Константин Дмитриевич говорит, что он не может верить, — сказала Кити, краснея за Лёвина. Лёвин понял это и, ещё больше раздражаясь, хотел ответить, но Вронский со своей открытой и весёлой улыбкой тут же пришёл на помощь разговору, который грозил стать неприятным.

— Вы совсем не допускаете такой возможности? — спросил он. — Почему же? Мы признаём существование электричества, о котором многого не знаем. Почему же не может быть какой-то новой силы, нам ещё неизвестной, которая...

— Когда открыли электричество, — быстро перебил Лёвин, — то просто обнаружили явление, не зная, откуда оно берётся и что оно производит. И века прошли, прежде чем придумали, как его использовать. А спириты, наоборот, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это какая-то неизвестная сила.

Вронский внимательно слушал Лёвина, как всегда слушал, проявляя искренний интерес к его словам.

Вронский внимательно слушал Левина, как всегда, с видом искренней заинтересованности.

— Да, но те же экстрасенсы говорят: мы пока не знаем, что это за энергия, но она есть, и вот при каких условиях проявляется. Пусть ученые разбираются, что это за энергия. Я не вижу, почему это не может быть какая-то новая форма энергии, если...

— А потому, — перебил Левин, — что с электричеством как: потер пластик о шерсть — вот тебе предсказуемый результат. А тут — через раз. Значит, это не природное явление.

Вронский, видимо, почувствовал, что разговор становится слишком серьёзным для гостиной, поэтому не стал спорить, а с улыбкой повернулся к дамам, пытаясь сменить тему.

— Давайте сейчас попробуем, графиня, — начал он. Но Левин не унимался, желая высказать свою мысль до конца.

— Мне кажется, — продолжал он, — что эта попытка экстрасенсов объяснить свои фокусы какой-то новой энергией — самая неудачная. Они говорят о духовной энергии и пытаются ее измерить материальными приборами.

Все ждали, когда он замолчит, и он это чувствовал.

— А мне кажется, из вас вышел бы отличный медиум, — сказала графиня Нордстон, — в вас есть что-то такое... экзальтированное.

Левин открыл рот, хотел что-то сказать, покраснел и промолчал.

— Давайте сейчас, княжна, испытаем столик, пожалуйста, — предложил Вронский. — Княгиня, вы не против?

И Вронский встал, оглядываясь в поисках подходящего столика.

Кити поднялась из-за стола и, проходя мимо, встретила взглядом с Левиным. Ей было искренне жаль его, тем более что она чувствовала себя виноватой в его страданиях. «Если можешь, прости меня, – говорил ее взгляд, – я так счастлива».

«Ненавижу всех, и тебя, и себя», – ответил его взгляд, и он потянулся за своей курткой. Но уйти ему было не суждено. Только они собрались вокруг столика, а Левин уже направился к выходу, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину.

— А! — воскликнул он радостно. — Давно ли? Я и не знал, что ты здесь. Очень рад тебя видеть.

Старый князь иногда обращался к Левину на "ты", иногда на "вы". Он обнял Левина и, разговаривая с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно ждал, когда князь обратит на него внимание.

Кити чувствовала, как после всего произошедшего любезность отца тяготит Левина. Она также заметила, как холодно отец наконец ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, пытаясь понять, чем он мог заслужить такое неприязненное отношение, и она покраснела.

— Князь, отпустите нам Константина Дмитриевича, — попросила графиня Нордстон. — Мы хотим эксперимент провести.

— Какой эксперимент? Столы крутить? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по моему, в "крокодила" играть веселее, — сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, кто затеял эту забаву. — В "крокодиле" хоть какой-то смысл есть.

Вронский с удивлением посмотрел на князя своими твердыми глазами и, слегка улыбувшись, тут же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на следующей неделе большом приеме.

— Надеюсь, вы будете? — обратился он к Кити.

Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последним впечатлением, вынесенным им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о приеме.

XV.

Когда вечер закончился, Катя рассказала матери о разговоре с Левиным, и, несмотря на всю жалость к нему, ее грела мысль, что ей сделали предложение. Она не сомневалась, что поступила правильно. Но в постели долго не могла уснуть. Перед глазами стояло лицо Левина: сдвинутые брови и печальные, добрые глаза, смотрящие из-под них, когда он стоял, слушая отца и поглядывая на нее и на Вронского. Ей стало так жаль его, что навернулись слезы. Но тут же она подумала о том, на кого променяла его. Вспомнила мужественное, волевое лицо Вронского, его благородное спокойствие и доброту, светящуюся во всем, вспомнила его любовь, и ей снова стало радостно, и она с улыбкой счастья прижалась к подушке. "Жаль, жаль, но что делать? Я не виновата", – говорила она себе, но внутренний голос твердил другое. Раскаивалась ли она, что дала надежду Левину, или что отказала ему, – она не знала. Но счастье было отравлено сомнениями. "Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!" – шептала она, пока не заснула.

В это время внизу, в кабинете отца, разворачивалась одна из частых сцен между родителями из-за любимой дочери.

– Что? Вот что! – кричал отец, размахивая руками и запахивая свой халат. – То, что у тебя нет гордости, достоинства, что ты позоришь, губишь дочь этим сватовством, подлым, дурацким!

– Да помилуй, ради Бога, что я сделала? – говорила мать, чуть не плача.

Она, счастливая после разговора с дочерью, зашла к отцу попроситься, и, хотя не собиралась говорить о предложении Левина и отказе Кати, намекнула, что дело с Вронским, кажется,

решено, и все решится, как только приедет его мать. И тут отец вспылел и начал выкрикивать грубые слова.

– Что ты сделала? А вот что: во-первых, ты заманиваешь жениха, и вся Москва будет говорить, и справедливо. Если устраиваешь вечера, зови всех, а не избранных женихов. Позови всех этих тьюфяков, – так отец называл московских молодых людей, – позови диджея, пусть танцуют, а не так, как сегодня – женихов сводить. Мне противно видеть, противно, ты вскружила голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А этот фронт петербургский, их как будто на конвейере делают, все одинаковые, и все никчемные. Да хоть бы он был сыном самого генерала, моя дочь ни в ком не нуждается!

– Да что я сделала?

– А то... – с гневом крикнул отец.

– Знаю я, если тебя слушать, – перебила мать, – то мы никогда не выдадим дочь замуж. Если так, то надо уехать в деревню.

– И лучше уехать.

– Да погоди. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. Просто молодой человек, очень хороший, влюбился, и она, кажется...

– Да, вот тебе кажется! А как она влюбится по-настоящему, а он жениться думает не больше, чем я? Ох, не смотрели бы мои глаза! "Ах, выставки, ах, рестораны, ах, на концерт"... – И отец, передразнивая жену, приседал на каждом слове. – А вот как сделаем несчастье Катеньке, как она в самом деле в голову вобьет...

– Да почему ты так думаешь?

– Я не думаю, а знаю. У меня есть глаза, а не у баб. Я вижу человека с серьезными намерениями – это Левин. А вижу перепела, как этот щеголь, которому только развлечься.

– Ну, ты опять за свое...

— Ну, ты прямо заикливаешься...

— А вот вспомнишь потом, да поздно будет, как с Дашей вышло.

— Ладно, ладно, давай не будем об этом, — прервала его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.

— Вот и отлично, тогда спокойной ночи!

И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись по своим комнатам.

Княгиня поначалу была уверена, что сегодняшней вечер решил судьбу Кити и что ухаживания Вронского серьезны; но слова мужа заставили ее засомневаться. Вернувшись к себе, она, как и Кити, с тревогой глядя в будущее, несколько раз прошептала: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

XVI.

Вронский никогда не знал, что такое настоящая семья. Его мать была яркой светской дамой, у которой было много романов, известных всему высшему обществу. Отца он почти не помнил, рос в кадетском корпусе.

Выпустившись молодым и перспективным офицером, он сразу же окунулся в жизнь богатых военных в Петербурге. Хотя он иногда появлялся в светских кругах, все его любовные интересы были вне их.

В Москве он впервые, после роскошной и разгульной петербургской жизни, ощутил прелесть общения с милой и невинной девушкой из хорошей семьи, которая полюбила его. Ему и в голову не приходило, что в его отношениях с Кити может быть что-то плохое. На вечеринках он танцевал в основном с ней, приезжал к ним домой. Он говорил с ней обычные светские вещи, всякую ерунду, но ерунду, которой он невольно придавал особый смысл для нее. Несмотря на то, что он не говорил ей ничего такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все больше и больше привязывается к нему, и чем больше он это чувствовал, тем приятнее ему

было, и его чувства к ней становились нежнее. Он не знал, что его поведение по отношению к Кити имеет определенное название – "морочить голову" девушкам, не собираясь жениться, и что это один из дурных поступков, обычных среди таких блестящих молодых людей, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и он наслаждался своим открытием.

Если бы он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если бы он мог взглянуть на ситуацию с точки зрения семьи и понять, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы в это. Он не мог поверить, что то, что доставляет такое удовольствие ему и, главное, ей, может быть чем-то плохим. И уж тем более он не мог поверить, что должен жениться.

Женитьба для него никогда не была вариантом. Он не только не любил семейную жизнь, но и представлял себе семью, особенно мужа, как нечто чуждое, враждебное и, главное, смешное – это было общее мнение в кругу холостяков, в котором он вращался. Но хотя Вронский и не подозревал о разговоре родителей, он, уходя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная связь, которая существовала между ним и Кити, укрепилась сегодня настолько, что нужно что-то предпринять. Но что можно и что нужно было предпринять, он не мог придумать.

Женитьба для него никогда не казалась чем-то реальным. Он не то чтобы не любил семейную жизнь, просто в той среде, где он вращался, семья, особенно муж, представлялись чем-то чуждым, даже смешным. Хотя Вронский и не догадывался о разговорах родителей, он, уходя в тот вечер от Щербацких, почувствовал, что незримая связь между ним и Кити стала такой сильной, что нужно что-то предпринять. Но что именно, он не мог придумать.

"Как это прекрасно, – думал он, возвращаясь от Щербацких, с тем чувством чистоты и свежести, которое всегда возникало после общения с ними, отчасти потому, что он не курил весь вечер, и с новым чувством умиления перед ее любовью. – Как прекрасно, что мы ничего не сказали прямо, но так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и полутонов. Сегодня она яснее, чем когда-либо, показала, что любит меня. И как мило, просто и, главное, доверчиво! Я сам чувствую себя лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце, и что во мне есть много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: "И очень..."

"Ну и что? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо". Он задумался, где провести остаток вечера.

Он мысленно перебирал варианты. "Клуб? Партия в преферанс, коньяк с Игнатовым? Нет, не то. В какой-нибудь бар, там найду Облонского, песни, танцы. Надоело. Именно за это я и люблю Щербацких, что сам становлюсь лучше. Поеду домой". Он сразу направился в свой номер в отеле, заказал ужин и, раздевшись, едва коснулся подушки, как заснул крепким и спокойным сном.

Глава XVII

На следующий день, в одиннадцать утра, Вронский поехал на вокзал встречать мать, приехавшую поездом из Москвы. Первым, кого он увидел на лестнице, был Облонский, ожидавший тем же поездом сестру.

– О, ваше сиятельство! – крикнул Облонский. – Кого встречаешь?

– Матушку, – улыбаясь, как все при встрече с Облонским, ответил Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним поднялся по лестнице. – Она сегодня приезжает из Москвы.

– А я тебя вчера до двух часов ждал. Куда ты пропал после Щербацких?

– Домой, – ответил Вронский. – Признаться, мне было так хорошо после Щербацких, что куда не хотелось ехать.

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьевич точно так же, как прежде Левину.

Вронский улыбнулся, давая понять, что не отрицает этого, но тут же сменил тему.

– А ты кого встречаешь? – спросил он.

– Я? Я – красивую женщину, – сказал Облонский.

– Вот как!

– Не подумайте плохого! Сестру Анну.

– Ах, это Каренина? – спросил Вронский.

– Ты ее, наверное, знаешь?

– Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, – рассеянно ответил Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

– Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, ты наверняка знаешь. Его все знают. Он в правительстве.

– Знаю по репутации и по новостям. Знаю, что он умный, ученый, что-то связанное с цифровизацией... Но, знаешь, это не моя тема, – сказал Вронский.

– Да, он очень интересный человек; немного консерватор, но хороший человек, – заметил Степан Аркадьевич. – Хороший человек.

— Да, он очень хороший человек; немного старомодный, но отличный парень, — заметил Степан Аркадьевич. — Отличный.

— Ну, тем лучше для него, — улыбнулся Вронский. — А, ты здесь, — обратился он к высокому пожилому охраннику матери, стоявшему у входа в VIP-зал. — Зайди.

В последнее время Вронского, помимо общей симпатии к Степану Аркадьевичу, тянуло к нему еще и потому, что тот напоминал ему о Кити.

— Ну что, в воскресенье организуем ужин для звезды Telegram? — спросил он, дружески беря Облонского под руку.

— Обязательно. Соберу донаты. Ах, ты вчера познакомился с моим приятелем Левиным? — спросил Степан Аркадьевич.

— Да, но он как-то быстро уехал.

— Он славный малый, — продолжал Облонский. — Правда?

— Не знаю, — ответил Вронский. — Почему-то во всех москвичах, разумеется, исключая тех, с кем я сейчас говорю, — шутливо добавил он, — есть что-то... колючее. Все время напряжены, злятся, как будто хотят что-то доказать...

— Есть такое, да, есть... — весело засмеялся Степан Аркадьевич.

— Что, скоро? — спросил Вронский у дежурного по вокзалу.

— Поезд прибывает, — ответил тот.

Приближение поезда все сильнее ощущалось: суeta на станции, беготня грузчиков, появление сотрудников вокзальной охраны и подъезжающие машины встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в бушлатах и валенках, переходившие пути. Слышался гудок тепловоза вдалеке и передвижение чего-то тяжелого.

— Нет, — сказал Степан Аркадьевич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о чувствах Левина к Кити. — Нет, ты не понял моего Левина. Он очень ранимый человек и бывает резким, да, но зато иногда он очень приятный. Это такая честная, искренняя душа, с золотым сердцем. Но вчера были особые обстоятельства, — с многозначительной улыбкой продолжал Степан Аркадьевич, совершенно забывая о том искреннем сочувствии, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. — Да, была причина, по которой он мог быть либо особенно счастлив, либо особенно несчастлив.

Вронский остановился и прямо спросил:

— То есть что? Он вчера сделал предложение твоей свояченице?

— Может быть, — ответил Степан Аркадьевич. — Что-то мне вчера так показалось. Да, если он рано уехал и был не в настроении, то это так... Он давно влюблен, и мне его очень жаль.

— Вот как!... Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на партию получше, — сказал Вронский и, расправив плечи, снова зашагал. — Впрочем, я его не знаю, — добавил он.

— Да, это тяжелое положение! Поэтому многие и предпочитают отношения без обязательств.

Там неудача доказывает только, что у тебя не хватило денег, а здесь — твоя самооценка на весах. Однако вот и поезд.

Действительно, вдали уже гудел тепловоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, выдыхая клубы пара, прокатился локомотив, а за ним, все медленнее и сильнее сотрясая платформу, тянулся вагон с багажом и скулящей собакой; наконец, плавно останавливаясь, подошли пассажирские вагоны.

Действительно, вдалеке уже послышался гудок электрички. Через несколько минут платформа задрожала, и, плавно тормозя, к перрону подкатил современный электропоезд. Из дверей вагона высыпали пассажиры: спешащий военный в форме, оглядывающийся по сторонам; энергичный предприниматель с деловой сумкой, оживленно разговаривающий по телефону; женщина с огромной клетчатой сумкой-баулом.

Вронский, стоя рядом с Облонским, внимательно осматривал вагоны и выходящих, на мгновение забыв о матери. Вести о Кити, полученные им только что, волновали и радовали его. Он невольно расправил плечи, и глаза его заблестели. Он чувствовал себя триумфатором.

— Графиня Вронская в этом купе, — сказал молодой проводник, обращаясь к Вронскому.

Слова проводника вернули его к реальности, напомнив о матери и предстоящей встрече. Он не испытывал к матери глубокого уважения и, не признаваясь себе в этом, не питал к ней особой любви. Однако, в соответствии с нормами общества, в котором он вырос, и своим воспитанием, он не мог представить себе иного отношения к матери, кроме как предельно почтительного и послушного, особенно внешне, тем более, чем меньше он уважал и любил ее в душе.

XVIII.

Вронский последовал за проводником в вагон и, входя в купе, остановился, чтобы пропустить выходящую даму. С привычной светской пронизательностью, по одному взгляду на ее облик, Вронский определил ее принадлежность к высшему обществу. Он извинился и собирался войти в купе, но почувствовал потребность еще раз взглянуть на нее — не потому, что она была ослепительно красива, а из-за изящества и сдержанной грации, сквозивших во всей ее фигуре, но потому, что в выражении ее миловидного лица, когда она проходила мимо него, было что-то необыкновенно ласковое и нежное. Когда он обернулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными из-за густых ресниц, серые глаза дружелюбно и внимательно остановились на его лице, словно узнавая его, и тут же перенеслись на приближающуюся толпу, как будто выискивая кого-то. В этом мимолетном взгляде Вронский успел заметить сдержанную живость, игравшую в ее лице и порхавшую между блестящими глазами и едва заметной улыбкой, трогавшей ее румяные губы. Казалось, избыток каких-то чувств переполнял ее, невольно проявляясь то в блеске глаз, то в улыбке. Она словно намеренно гасила свет в глазах, но он вопреки ее воле пробивался в едва уловимой улыбке.

Вронский вошел в купе. Его мать, сухонькая старушка с темными глазами и завитыми локонами, шурилась, всматриваясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной сумку, она протянула сыну маленькую сухую руку и, приподняв его голову от руки, поцеловала его в щеку.

— Телеграмму получил? Здоров? Слава Богу.

— Хорошо доехали? — спросил сын, садясь рядом с ней и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это голос той дамы, с которой он столкнулся при входе.

— Я все-таки с вами не согласна, — говорил голос дамы.

— Петербургский взгляд, сударыня.

— Не петербургский, а просто женский, — ответила она.

— Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.

— Разрешите вашу ручку поцеловать.

– До свидания, Иван Петрович. И поищите брата, скажите, чтобы зашел ко мне, – произнесла женщина у самой двери и вернулась в купе.

– Ну что, брата нашли? – спросила Вронская, обращаясь к попутчице.

Вронский тут же вспомнил, что это Каренина.

– Ваш брат здесь, – сказал он, поднимаясь. – Простите, я вас сразу не узнал, да и наше знакомство было мимолетным, – сказал Вронский, слегка кланяясь, – вы, наверное, меня и не помните.

– О, нет, – ответила она, – я бы вас узнала, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу только о вас и говорили, – сказала она, позволяя наконец прорваться наружу живости и улыбке. – А брата моего все нет.

– Алеша, позови его, – попросила старая графиня.

Вронский вышел на платформу и крикнул:

– Облонский! Ты здесь?

Но Каренина не стала ждать брата, а, увидев его, быстрым, уверенным шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел, она движением, поразившим Вронского своей решительностью и грацией, обняла его левой рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не отрывая взгляда, смотрел на нее и, сам не зная почему, улыбался. Но вспомнив, что мать ждет, он вернулся в купе.

– Правда, очень милая? – сказала графиня о Карениной. – Ее муж меня к ней подсадил, я очень рада. Всю дорогу проболтали. Ну, а ты, говорят... у вас там любовь-морковь. И прекрасно, мой дорогой, прекрасно.

– Я не понимаю, на что вы намекаете, мамá, – холодно ответил сын. – Ну что, мамá, пойдем?

Каренина снова вошла в купе, чтобы попрощаться с графиней.

– Вот, графиня, вы встретили сына, а я брата, – весело сказала она. – И все мои истории закончились; дальше нечего рассказывать.

– Ну нет, – возразила графиня, беря ее за руку, – я бы с вами весь мир объехала, и мне бы не было скучно. Вы одна из тех редких женщин, с которыми и поговорить, и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не переживайте; нельзя же всегда быть вместе.

Каренина стояла неподвижно, держась очень прямо, и глаза ее улыбались.

– У Анны Аркадьевны, – объяснила графиня сыну, – есть сын, лет восьми, кажется, и она никогда с ним не расставалась, и все переживает, что оставила его.

– Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, – сказала Каренина, и снова улыбка озарила ее лицо, улыбка ласковая, обращенная к нему.

– Вероятно, это вам очень наскучило, – сказал он, тут же, на лету, подхватывая этот мячик кокетства, который она ему бросила. Но она, видимо, не хотела продолжать разговор в этом тоне и обратилась к старой графине:

– Большое вам спасибо. Я и не заметила, как вчерашний день пролетел. До свидания, графиня.

– Прощайте, моя дорогая, – ответила графиня. – Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо скажу, что вы мне очень понравились.

Как ни банальна была эта фраза, Каренина, видимо, искренне поверила и обрадовалась. Она слегка покраснела, наклонилась, подставила свое лицо губам графини, снова выпрямилась и с той же улыбкой, игравшей между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую протянутую руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергичному пожатию, с которым она крепко и смело пожала его руку. Она вышла быстрой походкой, так странно легко несшей ее довольно полную фигуру.

– Очень милая, – повторила старушка.

– Очень приятная девушка, – сказала старушка.

То же самое думал её сын. Он провожал её взглядом, пока её стройная фигура не скрылась из виду, и улыбка застыла на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживлённо начала говорить, очевидно, о чём-то, не имеющем к нему, Вронскому, никакого отношения, и это показалось ему досадным.

– Ну что, тамап, вы совсем в порядке? – повторил он, обращаясь к матери.

– Всё хорошо, прекрасно. Александр был очень любезен. И Мария похорошела. Она очень интересная.

И она снова начала рассказывать о том, что её больше всего интересовало: о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и об особом внимании президента к старшему сыну.

– А вот и Лаврентий, – сказал Вронский, глядя в окно, – теперь пойдёте, если хотите.

Пожилой дворецкий, сопровождавший графиню, явился в купе доложить, что всё готово, и графиня поднялась, чтобы идти.

– Пойдёмте, сейчас мало людей, – сказал Вронский.

Девушка взяла сумку и собачку, дворецкий и водитель – другие сумки. Вронский взял под руку мать, но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и дежурный по станции в своей яркой сигнальной жилетке. Очевидно, что-то случилось. Люди от поезда побежали назад.

– Что?... Что?... Где?... Бросился!.. Сбило!.. – слышалось между проходящими.

Степан Аркадьевич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились у входа в вагон, избегая толпы.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьевичем пошли за людьми, чтобы узнать подробности происшествия.

Рабочий, то ли из-за усталости, то ли от невнимательности, не услышал маневровый тепловоз, и его сбило.

Ещё до того, как вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.

Облонский и Вронский оба видели изуродованное тело. Облонский явно страдал. Он морщился и, казалось, готов был заплакать.

– Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой кошмар! – причитал он.

Вронский молчал, и его красивое лицо было серьёзным, но совершенно спокойным.

– Ах, если бы вы видели, графиня, – говорил Степан Аркадьевич. – И жена его тут... Ужасно видеть её... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил большую семью. Вот ужас!

– Нельзя ли что-нибудь сделать для неё? – взволнованным шёпотом спросила Каренина.

Вронский взглянул на неё и тут же вышел из вагона.

– Я сейчас вернусь, тамап, – добавил он, обернувшись в дверях.

Когда он вернулся через несколько минут, Степан Аркадьевич уже разговаривал с графиней о новом блогере, а графиня нетерпеливо поглядывала на дверь, ожидая сына.

– Теперь пойдёмте, – сказал Вронский, входя.

Они вместе вышли. Вронский шёл впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошёл догнавший его дежурный по станции.

– Вы передали моему помощнику десять тысяч рублей. Укажите, пожалуйста, кому вы их назначаете?

– Вдове, – сказал Вронский, пожимая плечами. – Не понимаю, зачем спрашивать.

– Вы дали? – крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, добавил: – Очень благородно, очень благородно! Правда, молодец? Моё почтение, графиня.

И он с сестрой остановились, разыскивая её помощницу.

Когда они вышли, машина Вронских уже отъехала. Выходившие люди всё ещё переговаривались о случившемся.

- Вот смерть-то страшная! – сказал какой-то мужчина, проходя мимо. – Говорят, в фарш.
– Я думаю, наоборот, самая лёгкая, мгновенная, – заметил другой.
– Да нет, наоборот, это самое простое и быстрое решение, – возразил кто-то из них.
– Неужели никто не примет меры? – добавил третий.

Каренина села в машину, и Степан Аркадьевич с тревогой заметил, что у нее дрожат губы, и она едва сдерживает слезы.

- Что с тобой, Аня? – спросил он, когда они отъехали от вокзала.
– Плохое предчувствие, – ответила она.
– Ну что за ерунда! – отмахнулся Степан Аркадьевич. – Ты приехала, и это главное.

Ты не представляешь, как я на тебя рассчитываю.

- А ты давно знаком с Вронским? – вдруг спросила она.
– Да, довольно давно. Ты же знаешь, мы надеемся, что он сделает предложение Кити.
– Вот как? – тихо произнесла Анна. – Ладно, давай лучше о тебе, – добавила она,

тряхнув головой, словно отгоняя навязчивые мысли. – Рассказывай, что у тебя там. Я получила твоё сообщение и сразу приехала.

- Да, вся надежда на тебя, – повторил Степан Аркадьевич.
– Ну, выкладывай все по порядку.

И Степан Аркадьевич начал рассказывать.

Подъехав к дому, Облонский помог сестре выйти из машины, вздохнул, пожал ей руку и поехал в свой офис.

ХІХ.

Когда Анна вошла в дом, Долли сидела в небольшой гостиной с белобрысым пухлым мальчиком, который все больше становился похож на отца, и слушала, как он читает текст по английскому языку. Мальчик читал, машинально крутя в руках и пытаясь оторвать еле держащуюся пуговицу на кофте. Мать несколько раз отнимала его руку, но пухлые пальчики снова тянулись к пуговице. В конце концов, мать оторвала пуговицу и положила ее в карман.

– Гриша, успокой руки, – сказала она и снова взялась за свое вязание, старый проект, за который она всегда бралась в тяжелые моменты. Сейчас она вязала нервно, то и дело сбиваясь со счета петель. Хотя она и сказала вчера мужу, что ей все равно, приедет его сестра или нет, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.

Долли была раздавлена своим горем, полностью погружена в него. Но она помнила, что Анна, жена важного чиновника из Москвы, светская дама. И, несмотря на свои слова, она не забыла о приезде золовки. "В конце концов, Анна ни в чем не виновата, – думала Долли. – Я ничего плохого о ней не знаю, только хорошее. Она всегда была добра и дружелюбна ко мне". Правда, она помнила, что ей не нравился их дом в Москве; что-то фальшивое было в их семейном укладе. "Но почему я должна ее не принять? Только бы она не начала меня утешать! – думала Долли. – Все эти утешения, увещевания и христианское всепрощение – я уже тысячу раз все это передумала, и ничего не помогает".

Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с таким грузом на душе говорить о чем-то постороннем она не могла. Она знала, что рано или поздно она все расскажет Анне, и ее то радовала мысль о том, как она это сделает, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и выслушивать заученные фразы утешения.

Она, как это часто бывает, постоянно поглядывала на часы, ожидая ее каждую минуту, и пропустила именно тот момент, когда гостя приехала, так что даже не услышала звонка в дверь.

Услышав шорох платья и легкие шаги уже в дверях, она обернулась, и на ее измученном лице невольно отразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку.

- Аня, как я рада тебя видеть! – сказала она, целуя ее.
– Долли, как, ты уже здесь?

— Долли, как я рада тебя видеть!

— Я тоже, — Долли слабо улыбнулась, пытаясь понять по лицу Анны, знает ли она. "Наверняка знает," — подумала она, заметив сочувствие в глазах Анны. — Ну, пойдём, я покажу тебе твою комнату, — продолжала она, стараясь оттянуть момент объяснений.

— Это Гриша? Боже мой, как вырос! — воскликнула Анна, поцеловав мальчика и не сводя глаз с Долли. Она остановилась и слегка покраснела. — Нет, давай никуда не пойдём пока.

Она сняла платок и шляпу, зацепив шляпой прядь своих темных, вьющихся волос, и, мотая головой, освобождала волосы.

— А ты просто сияешь от счастья и здоровья! — сказала Долли почти с завистью.

— Я? Да, — ответила Анна. — Боже мой, Таня! Ровесница моему Сереже, — добавила она, обращаясь к вбежавшей девочке. Она подхватила ее на руки и поцеловала. — Прелестная девочка, просто прелесть! Покажи мне всех.

Она называла детей по именам и помнила не только имена, но и годы рождения, месяцы, характеры, болезни каждого, и Долли не могла не оценить это.

— Ну, пойдём к ним, — предложила она. — Вася сейчас спит, жаль.

Осмотрев детей, они уселись в гостиной, уже вдвоем, перед кофе. Анна взялась за поднос, но тут же отодвинула его.

— Долли, — сказала она, — он мне говорил.

Долли холодно посмотрела на Анну. Она ожидала сейчас фальшивых сочувственных фраз, но Анна ничего такого не сказала.

— Долли, милая! — сказала она. — Я не хочу ни говорить за него, ни утешать тебя; это невозможно. Но, душенька, мне просто жаль, жаль тебя всей душой!

Из-под густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она подвинулась ближе к Долли и взяла ее руку своей энергичной маленькой рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее оставалось сухим и напряженным. Она сказала:

— Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что случилось, все пропало!

И как только она это произнесла, выражение ее лица вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:

— Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этой ужасной ситуации? Вот о чем надо подумать.

— Все кончено, и больше ничего, — ответила Долли. — И хуже всего то, пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А жить с ним я не могу, мне мучительно видеть его.

— Долли, дорогая, он мне рассказывал, но я хочу услышать все от тебя, скажи мне все.

Долли вопросительно посмотрела на нее.

Участие и искренняя любовь были видны на лице Анны.

— Хорошо, — вдруг сказала она. — Но я начну сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. С воспитанием маман я была не только невинна, но и глупа. Я ничего не знала. Говорят, мужья рассказывают женам о своей прошлой жизни, но Стива... — она поправилась — Степан Аркадьевич ничего мне не говорил. Ты не поверишь, но я до сих пор думала, что я единственная женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Пойми, я не только не подозревала об измене, но считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю мерзость... Ты пойми меня. Быть уверенной в своем счастье, и вдруг... — продолжила Долли, сдерживая рыдания, — и получить письмо... его письмо к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! — Она поспешно достала платок и закрыла им лицо. — Я еще понимаю увлечение, — продолжила она, помолчав, — но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?... Продолжать быть моим мужем вместе с ней... это ужасно! Ты не можешь понять...

— О, нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, — говорила Анна, сжимая ее руку.

— О, да я понимаю! Понимаю, дорогая Долли, понимаю, — говорила Анна, крепко сжимая ее руку.

— И ты думаешь, он хоть немного представляет весь кошмар моей ситуации? — продолжала Долли. — Ни капли! Он ходит довольный, как будто ничего не случилось.

— О, нет! — быстро возразила Анна. — Он несчастен, его грызет совесть...

— Да способен ли он вообще на раскаяние? — перебила Долли, внимательно глядя в лицо свояченицы.

— Да, я его знаю. Мне было больно на него смотреть. Мы обе его знаем. Он добрый, но гордый, а сейчас совершенно раздавлен. Главное, что меня тронуло... — (и тут Анна угадала, что именно заденет Долли) — его мучают две вещи: стыд перед детьми и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, — поспешно перебила она Долли, которая хотела возразить, — причинил тебе такую боль, сломал твою жизнь. «Нет, нет, она никогда не простит», — только и повторяет.

Долли задумчиво смотрела в сторону, слушая ее слова.

— Да, я понимаю, что ему сейчас ужасно; виноватому всегда хуже, чем невиновному, — сказала она, — особенно если он осознает, что все несчастья — из-за его вины. Но как простить, как мне снова стать его женой после этого? Жить с ним теперь будет мучением, именно потому, что я люблю ту, прежнюю любовь к нему...

И ее слова прервали рыдания.

Но словно нарочно, каждый раз, когда она немного успокаивалась, она снова начинала говорить о том, что ее раздражало.

— Ведь она молодая, красивая, — продолжала она. — Ты понимаешь, Анна, что мою молодость, мою красоту забрал кто? Он и его дети. Я ему отслужила, и на эту службу ушло все мое, а ему теперь, конечно, свежее, чужое существо приятнее. Они, наверное, обсуждали меня между собой, или, еще хуже, молчали, — ты понимаешь? — И снова ненависть вспыхнула в ее глазах. — И после этого он будет мне говорить... Что, я должна ему верить? Никогда. Нет, все кончено, все, что было утешением, наградой за труд, за муки... Ты согласишься? Я только что помогала Грише с уроками: раньше это была радость, а теперь мучение. Зачем я стараюсь, зачем тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и...

— Дорогая, Долли, я понимаю, но не мучай себя. Ты так обижена, так взволнована, что многое видишь в искаженном свете.

Долли замолчала, и они несколько минут сидели в тишине.

— Что делать, подскажи, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Анна не знала, что посоветовать, но ее сердце откликалось на каждое слово, на каждое выражение лица свояченицы.

— Я скажу одно, — начала Анна, — я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, абсолютно все забывать (она провела рукой по лбу), эту способность полностью отдаваться чувствам, но зато и полностью раскисаться. Он сейчас не верит, не понимает, как он мог совершить то, что совершил.

— Нет, он понимает, он понимал! — перебила Долли. — Но я... ты забываешь обо мне... разве мне легче?

— Постой. Когда он мне говорил, признаюсь, я еще не до конца понимала весь ужас твоего положения. Я видела только его и то, что семья рушится; мне было его жаль, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как тебя жаль! Но, Долли, дорогая, я прекрасно понимаю твои страдания, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, осталось ли в твоей душе еще любви к нему. Это знаешь только ты, — достаточно ли ее, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

— Нет, — начала Долли, но Анна прервала ее, еще раз поцеловав ее руку.

— Нет, — начала Долли, но Анна перебила её, ещё раз целуя руку.

— Я лучше тебя знаю этот мир, — сказала она. — Я знаю этих людей, как Стиву, как они на это смотрят. Ты говоришь, он с ней говорил о тебе? Этого не было. Эти люди могут изменять, но семья и жена для них – это святое. Как-то у них эти женщины остаются в стороне и не мешают семье. Они какую-то черту проводят, непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так.

— Да, но он её целовал...

— Долли, послушай, милая. Я видела Стиву, когда он был влюблён в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и говорил о тебе, и какая ты была для него поэзия и идеал, и я знаю, что чем дольше он с тобой живёт, тем выше ты для него становишься. Ведь мы смеялись над ним, что он к каждому слову добавлял: "Долли – удивительная женщина". Ты для него всегда была и осталась богиней, а это увлечение – мимолетно...

— Но если это увлечение повторится?

— Этого не может быть, как я понимаю...

— Да, но ты бы простила?

— Не знаю, не могу судить... Нет, могу, — сказала Анна, подумав. И, представив ситуацию и взвесив её, добавила: — Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы прежней, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было.

— Ну, разумеется, — быстро перебила Долли, как будто она говорила то, о чём не раз думала, — иначе это не было бы прощением. Если простить, то совсем, совсем. Ну, пойдём, я тебя провожу в твою комнату, — сказала она, вставая. По дороге Долли обняла Анну. — Милая моя, как я рада, что ты приехала. Мне легче, гораздо легче стало.

XX.

Весь этот день Анна провела дома, то есть у Облонских, и никого не принимала, так как некоторые из её знакомых, узнав о её приезде, приезжали в тот же день. Анна всё утро провела с Долли и с детьми. Она только отправила сообщение брату, чтобы он обязательно пообедал дома. "Приезжай, Бог милостив", писала она.

Облонский обедал дома; разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его "ты", чего прежде не было. В отношениях мужа и жены оставалась та же отчуждённость, но уже не было речи о разводе, и Степан Аркадьевич видел возможность объяснения и примирения.

Сразу после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала к сестре с некоторым страхом перед тем, как её примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, это она увидела сразу. Анна, очевидно, любовалась её красотой и молодостью, и Кити не успела опомниться, как почувствовала себя не только под её влиянием, но и влюблённой в неё, как молодые девушки влюбляются в замужних и старших дам. Анна не походила на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, скорее на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и живости, которая то и дело проявлялась в улыбке или взгляде, если бы не серьёзное, иногда грустное выражение её глаз, которое поражало и притягивало Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но в ней был какой-то другой, высший мир недоступных для неё интересов, сложных и поэтических.

После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару.

— Стива, — сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая на дверь глазами.

— Иди, и да поможет тебе Бог.

Он бросил сигару, поняв её, и скрылся за дверью.

Он затушил сигару в пепельнице, всё поняв, и вышел из комнаты.

Когда Степан Аркадьевич ушёл, Анна вернулась на диван к детям. То ли дети чувствовали её расположение, то ли сами были очарованы ею, но старшие, а за ними и младшие, обле-

пили новую тётю ещё до обеда. Они придумали игру: сидеть как можно ближе, касаться её, держать за руку, целовать, трогать кольцо или край платья.

– Ну, как мы раньше сидели, – сказала Анна, устраиваясь на своё место.

Гриша тут же прижался головой к её платью, сияя от гордости и счастья.

– Так когда же вечеринка? – спросила она у Кити.

– На следующей неделе, и отличная вечеринка. Одна из тех, где всегда весело.

– Бывают такие, где всегда весело? – с нежной усмешкой спросила Анна.

– Странно, но да. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Межковых – тоска.

Разве ты не замечала?

– Нет, милая, для меня больше нет таких вечеринок, где весело, – сказала Анна, и Кити увидела в её глазах какую-то тайну. – Для меня есть те, на которых менее тяжело и скучно...

– Как тебе может быть скучно на вечеринке?

– А почему не может? – спросила Анна.

Кити поняла, что Анна знает, что она ответит.

– Потому что ты всегда лучше всех.

Анна покраснела и сказала:

– Во-первых, не всегда, а во-вторых, если бы и так, зачем мне это?

– Ты поедешь на эту вечеринку? – спросила Кити.

– Думаю, придётся. Вот, возьми, – сказала она Тане, снимая кольцо со своего тонкого пальца.

– Я буду очень рада, если ты приедешь. Мне бы так хотелось увидеть тебя там.

– По крайней мере, если придётся ехать, буду утешаться мыслью, что это доставит тебе удовольствие... Гриша, не дёргай, пожалуйста, они и так все растрепались, – сказала она, поправляя прядь волос, с которой играл Гриша.

– Я представляю тебя на вечеринке в лиловом.

– Почему непременно в лиловом? – улыбаясь, спросила Анна. – Ну, дети, идите, идите.

Слышите? Мисс Гуль зовёт пить чай, – сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую.

– А я знаю, почему ты зовёшь меня на вечеринку. Ты много ждёшь от неё, и тебе хочется, чтобы все были там, все участвовали.

– Откуда ты знаешь? Да.

– О, как прекрасно твоё время, – продолжала Анна. – Помню и знаю этот голубой туман, как на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает всё в то время, когда вот-вот закончится детство, и из этого огромного, счастливого круга делается путь всё уже и уже, и весело, и жутко входить в эту анфиладу, хотя она кажется светлой и прекрасной... Кто не проходил через это?

Кити молча улыбалась. «Как же она прошла через это? Как бы я хотела узнать всю её историю», – подумала Кити, вспоминая не слишком привлекательного Алексея Александровича, её мужа.

– Я кое-что знаю. Стива мне рассказывал, и я поздравляю тебя, он мне очень нравится, – продолжала Анна. – Я встретила Вронского на вокзале.

– Ах, он был там? – спросила Кити, покраснев. – Что же Стива тебе рассказал?

– Стива мне всё выболтал. И я была бы очень рада.

— Стива мне всё выболтал. Я была бы очень рада.

— Я вчера ехала с матерью Вронского, — продолжала она, — и мать без умолку говорила мне о нём; это её любимчик; я знаю, как матери пристрастны, но...

— Что ж мать рассказывала вам?

— Ах, много! И я знаю, что он её любимец, но всё-таки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать всё состояние брату, что он в детстве ещё что-

то необыкновенное сделал, спас девушку из-под обстрела. Словом, герой, — сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про те двадцать тысяч, что он дал на нужды беженцев.

Но она не рассказала про эти двадцать тысяч. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся её и такое, чего не должно было быть.

— Она очень просила меня поехать к ней, — продолжала Анна, — и я рада повидать старушку и завтра поеду к ней. Очень мило с её стороны. Однако, слава Богу, Стёва долго остаётся у Дёлли в кабинете, — прибавила Анна, меняя разговор и вставая, как показалось Кйти, чем-то недовольная.

— Нет, я первый! Нет, я! — кричали дети, закончив чай и выбегая к тёте Анне.

— Все вместе! — сказала Анна и, смеясь, побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащих от восторга детей.

XXI.

К чаю больших Дёлли вышла из своей комнаты. Степán Аркадьич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жён задним ходом.

— Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, — заметила Дёлли, обращаясь к Анне, — мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем.

— Ах, уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь, — отвечала Анна, вглядываясь в лицо Дёлли и стараясь понять, было или не было примирения.

— Тебе светло будет здесь, — отвечала невестка.

— Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок.

— О чём это? — спросил Степán Аркадьич, выходя из кабинета и обращаясь к жене.

По тону его и Кйти и Анна сразу поняли, что примирение состоялось.

— Я Анну хочу перевести вниз, но надо жалюзи перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой, — отвечала Дёлли, обращаясь к нему.

«Бог знает, вполне ли помирились?» подумала Анна, услышав её тон, холодный и спокойный.

— Ах, полно, Дёлли, всё делать трудности, — сказал муж. — Ну, хочешь, я всё сделаю...

«Да, должно быть, помирились», подумала Анна.

— Знаю, как ты всё сделаешь, — отвечала Дёлли, — скажешь слесарю сделать то, чего нельзя сделать, а сам уедешь, а он всё перепутает, — и привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Дёлли, когда она говорила это.

«Полное, полное примиренье, полное, — подумала Анна, — слава Богу!» — и, радуясь тому, что она была причиной этого, она подошла к Дёлли и поцеловала её.

— Совсем нет, отчего ты так презираешь нас со слесарями? — сказал Степán Аркадьич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене.

Весь вечер, как всегда, Дёлли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степán Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощён, забыл свою вину.

В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым событием, но это простое событие почему-то всем показалось странным. Разговорившись об общих киевских знаковых, Анна быстро встала.

— Она у меня есть в альбоме, — сказала она, — да и кстати я покажу фото моего Серёжи, — прибавила она с гордой материнской улыбкой.

— У меня его фото в альбоме есть, — сказала Анна. — И заодно покажу вам моего Серёжу, — добавила она с гордой материнской улыбкой.

К десяти вечера, когда она обычно прощалась с сыном и часто сама, перед выездом на мероприятие, укладывала его спать, ей стало немного грустно оттого, что она так далеко от

него. О чём бы ни говорили, она то и дело мысленно возвращалась к своему кудрявому Серёже. Ей захотелось взглянуть на его фотографию и поговорить о нём. Под первым же предложением она встала и своей лёгкой, уверенной походкой пошла за альбомом. Лестница на второй этаж, в её комнату, выходила на площадку большой, просторной лестницы.

В тот момент, когда она выходила из гостиной, в прихожей раздался звонок в домофон.

— Кто бы это мог быть? — спросила Долли.

— За мной ещё рано, а к кому-то уже поздно, — заметила Кити.

— Наверное, курьер с документами, — предположил Степан Аркадьевич. И когда Анна проходила мимо лестницы, охранник уже поднимался вверх, чтобы доложить о приехавшем. Сам посетитель стоял у подсветки, что-то листал в телефоне. Анна, взглянув вниз, сразу узнала Вронского, и странное чувство радости и вместе с тем какой-то тревоги вдруг шевельнулось у неё в груди. Он стоял в куртке и что-то доставал из кармана. В тот момент, когда она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидел её, и в выражении его лица появилось что-то смущённое и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла мимо, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьевича, приглашавшего его войти, и тихий, мягкий и спокойный голос отказывающегося Вронского.

Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было. Степан Аркадьевич рассказывал, что он заезжал узнать насчёт благотворительного аукциона, который они завтра устраивали для помощи беженцам.

— И ни в какую не захотел войти. Какой-то он странный, — добавил Степан Аркадьевич.

Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и почему не вошёл. «Он был у нас, — думала она, — и не застал меня, и подумал, что я здесь; но не вошёл, потому что решил, что уже поздно, и Анна здесь».

Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть альбом Анны.

Не было ничего необычного или странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого вечера узнать подробности предстоящего мероприятия и не вошёл; но всем это показалось странным. Больше всех странным и неприятным это показалось Анне.

Аукцион только начался, когда Кити с матерью вошли в просторный холл, украшенный цветами и волонтерами в фирменных футболках. Из зала доносился гул голосов, как в улье, и пока они в холле перед зеркалом поправляли причёски и платья, из зала послышались приглушённые звуки музыки, возвещавшей о начале мероприятия. Пожилой мужчина в штатском, поправлявший свои седые виски у другого зеркала и распространявший вокруг себя аромат дорогого парфюма, столкнулся с ними в холле и посторонился, явно любясь незнакомой ему Кити. Молодой человек в стильном пиджаке, поправляя на ходу галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити поучаствовать в конкурсе. Военный в форме, застёгивая перчатку, стоял у входа и, поглаживая усы, смотрел на розовую Кити.

Бал только начался, когда Кити с мамой вошли в просторный холл, утопающий в цветах и огнях. Вместо лакеев в ливреях — охрана в строгих костюмах. Из банкетного зала доносился гул голосов, похожий на ровный шум пчелиного улья. Пока они в фойе, у зеркала, поправляли причёски и платья, из зала донеслись первые, осторожные звуки скрипок — оркестр начинал вальс. Мужчина средних лет, в дорогом костюме, поправлявший седеющие виски у соседнего зеркала, слегка посторонился, с интересом разглядывая незнакомую Кити. Молодой человек в стильном пиджаке, из тех, кого отец Кити, старый профессор Щербацкий, называл "мажорами", поправил на ходу галстук и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадрили. Первый танец она уже обещала Вронскому, а этот юноша мог рассчитывать на второй. Военный в форме, застёгивая перчатку, стоял у входа и, поглаживая усы, с восхищением смотрел на сияющую Кити.

Несмотря на то, что выбор наряда, прическа и все приготовления к балу отняли у Кити много времени и сил, сейчас, в своем воздушном платье из тюля на розовом чехле, она вошла в зал легко и непринужденно, словно все эти рюши, кружева и детали туалета не стоили ей и ее близким ни минуты внимания, словно она родилась в этом тюле и кружевах, с этой высокой прической, с розой в волосах.

Когда мама перед входом в зал попыталась поправить на ней съехавшую ленту пояса, Кити слегка уклонилась. Она чувствовала, что все само собой должно быть идеально и гармонично, и что поправлять ничего не нужно.

У Кити был один из тех дней, когда все складывается удачно. Платье нигде не давило, кружевная накидка не сползала, розы не помялись и не оторвались; розовые туфли на высоких каблуках не жали, а, наоборот, придавали легкость походке. Густые локоны светлых волос идеально лежали на голове. Все три кнопки на высокой перчатке застегнулись без проблем, плотно облекая руку, не меняя ее формы. Черный бархатный чокер особенно нежно подчеркивал шею. Этот чокер был просто великолепен, и дома, глядя в зеркало, Кити чувствовала, что он словно что-то говорит. Во всем остальном еще могли быть сомнения, но чокер был безупречен. Кити улыбнулась, взглянув на него в зеркало уже здесь, на балу. В обнаженных плечах и руках она ощущала приятную прохладу, ощущение, которое ей особенно нравилось. Глаза блестели, и румяные губы не могли сдержать улыбку, отражая уверенность в своей привлекательности. Едва она вошла в зал и приблизилась к толпе дам в тюле, лентах, кружевах и цветах, ожидающих приглашения на танец (Кити никогда не задерживалась в этой толпе), как ее тут же пригласили на вальс. И пригласил лучший кавалер, главный распорядитель бала, известный организатор торжеств, женатый, красивый и статный мужчина, Егор Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он танцевал первый тур вальса, он, окидывая взглядом "свое хозяйство", то есть танцующие пары, увидел входящую Кити и поспешил к ней той особенной, свойственной только организаторам балов, легкой походкой. Поклонившись, даже не спрашивая ее согласия, он протянул руку, чтобы обнять ее за тонкую талию. Она оглянулась, чтобы передать кому-нибудь веер, и хозяйка вечера, улыбаясь, взяла его.

— Как хорошо, что вы приехали вовремя, — сказал он, обнимая ее за талию, — что за манера опаздывать.

— Как хорошо, что ты вовремя, — сказал он, приобнимая её за талию, — а то что за манера опаздывать.

Она положила левую руку ему на плечо, и её лёгкие кроссовки быстро и ритмично задвигались по гладкому паркету в такт музыке.

— Отдыхаю, когда с тобой танцую, — сказал он, делая первые шаги вальса. — Какая лёгкость, точность, — говорил он то, что говорил почти всем своим знакомым.

Она улыбнулась на его комплимент и через его плечо продолжала осматривать зал. Она не была новичком, для которого все лица сливаются в одно волшебное впечатление, но и не была завсегдаем вечеринки, которому все лица знакомы и наскучили. Она была где-то посередине — взволнована, но достаточно собрана, чтобы наблюдать. В углу зала она заметила группу самых модных людей. Там была Лида, жена Корсунского, в слишком откровенном наряде; там была хозяйка вечера; там сиял лысиной Кривин, всегда оказывавшийся там, где собирался бомонд. Молодые люди смотрели туда, не решаясь подойти. И там же она увидела Стиву, а потом и прекрасную фигуру Анны в чёрном платье. И *он* был там. Кити не видела его с того вечера, когда отказала Левину. Кити сразу узнала его и даже заметила, что он смотрит на неё.

— Что, ещё круг? Не устала? — спросил Корсунский, слегка запыхавшись.

— Нет, спасибо.

— Куда тебя отвести?

— Кажется, там Анна... Отведи меня к ней.

— Как скажешь.

И Корсунский, замедляя шаг, повёл её прямо к группе в углу зала, приговаривая: «Простите, дамы, простите, простите, дамы», и, лавируя между морем кружев и лент, резко повернул её, так что стали видны её стройные ноги в колготках, а шлейф платья коснулся колен Кривина. Корсунский поклонился, расправил плечи и подал руку, чтобы проводить её к Анне Аркадьевне. Кити, покраснев, убрала шлейф с колен Кривина и, немного закружившись, огляделась в поисках Анны. Анна была не в лиловом, как представляла себе Кити, а в чёрном платье с открытыми плечами, обнажавшем её точёные плечи и грудь, и округлые руки с тонкими запястьями. На голове у неё, в чёрных волосах, была небольшая заколка в виде анютиных глазок, такая же была на чёрной ленте пояса. Причёска её была простой. Заметны были лишь короткие завитки волос, выбивавшиеся на затылке и висках. На шее была нитка жемчуга.

Кити видела Анну каждый день, восхищалась ею и представляла её в лиловом. Но, увидев её в чёрном, она поняла, что не понимала всей её прелести. Теперь она увидела её совершенно новой и неожиданной. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом, и что её прелесть в том, что она всегда выделялась из своего наряда, что наряд никогда не мог затмить её. И чёрное платье не бросалось в глаза; это была лишь рамка, а видна была только она — простая, естественная, изящная и вместе с тем весёлая и оживлённая.

Она стояла, как всегда, прямо, и, когда Кити подошла, разговаривала с хозяином дома, слегка повернув к нему голову.

Она стояла, как всегда, с безупречной осанкой, и когда Китти подошла к небольшой группе, разговаривала с хозяином квартиры, слегка повернув к нему голову.

— Нет, я не буду бросать камни, — отвечала она ему на что-то. — Хотя, я не понимаю... — продолжила она, пожав плечами, и тут же с нежной, покровительственной улыбкой обратилась к Китти. Быстрым женским взглядом оценив ее наряд, она сделала едва заметное, но понятное для Китти движение головой, одобряя ее вкус и красоту. — Вы и в чат заходите танцую, — добавила она.

— Это одна из моих самых надежных волонтеров, — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, с которой еще не был знаком. — Княжна помогает сделать наши сборы веселыми и эффективными. Анна Аркадьевна, может, тур вальса? — сказал он, наклоняясь к ней.

— А вы знакомы? — спросил хозяин.

— С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают, — ответил Корсунский. — Тур вальса, Анна Аркадьевна.

— Я не танцую, когда можно не танцевать, — сказала она.

— Но сегодня нельзя, — ответил Корсунский.

В этот момент подошел Вронский.

— Ну, если сегодня нельзя не танцевать, тогда пойдёмте, — сказала она, не заметив поклона Вронского, и быстро положила руку на плечо Корсунского.

«Почему она им недовольна?» — подумала Китти, заметив, что Анна намеренно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Китти, напоминая ей о первой совместной акции и выражая сожаление, что все это время не имел возможности ее видеть. Китти смотрела, любясь, на Анну, которая уже кружилась в вальсе, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил ее вальсировать, но едва он обнял ее за талию и сделал первый шаг, как музыка вдруг оборвалась. Китти посмотрела на его лицо, которое было так близко от нее, и долго потом, спустя несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда посмотрела на него и на который он не ответил, мучительным стыдом резал ей сердце.

— Pardon, pardon! Вальс, вальс! — закричал с другого конца комнаты Корсунский и, подхватив первую попавшуюся девушку, сам начал танцевать.

XXIII.

XXIII.

Вронский и Кити сделали несколько кругов вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела перекинуться парой слов с Нордстон, как Вронский уже пригласил её на первую кадрили. Во время кадрили ничего особенного не произошло, разговор был прерывистым: то о супругах Корсунских, которых Вронский забавно описывал как милых детей лет сорока, то о будущем культурном центре, и лишь однажды разговор задел её за живое, когда он спросил, здесь ли Левин, и добавил, что тот ему очень понравился. Но Кити и не ждала большего от кадрили. Она с замиранием сердца ждала мазурки. Ей казалось, что в мазурке всё решится. То, что он во время кадрили не пригласил её на мазурку, её не тревожило. Она была уверена, что танцует мазурку с ним, как и на прежних вечеринках, и отказала пятерым, говоря, что уже обещала. Весь вечер до последней кадрили был для Кити волшебным сном из радостных красок, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком уставшей и просила передышку. Но, танцуя последнюю кадрили с одним из скучных молодых людей, которому нельзя было отказать, она оказалась напротив Вронского и Анны. Она не общалась с Анной с самого её приезда, и тут вдруг увидела её снова совершенно новой и неожиданной. Она увидела в ней столь знакомую ей самой черту – возбуждение от внимания. Она видела, что Анна опьянена вином вызываемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне – видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, уверенность и легкость движений.

«Кто? – спросила она себя. – Все или кто-то один?» И, не помогая мучившемуся парню, с которым она танцевала, в разговоре, нить которого он упустил и не мог подхватить, и внешне подчиняясь весело-громким командам Корсунского, то бросающего всех в общий круг, то в перестроения, она наблюдала, и сердце её сжималось всё больше и больше. «Нет, это не восхищение толпы опьянило её, а восхищение одного. И этот один... неужели это он?» Каждый раз, когда он говорил с Анной, в глазах её вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала её румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой проявлялись на её лице. «Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно видела в отражении лица Анны, она увидела на нём. Куда делась его всегда спокойная, уверенная манера и беззаботно-спокойное выражение лица? Нет, теперь он, каждый раз, когда обращался к ней, слегка наклонял голову, как бы желая пасть перед ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и трепета. «Я не обидеть хочу, – каждый раз как будто говорил его взгляд, – но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видела прежде.

— Кто? — прошептала она, глядя в зеркало. — Все они, или только один?

Она вяло поддерживала разговор с волонтером, с которым танцевала, тот явно потерял нить беседы и пытался ее восстановить. В то же время, краем глаза она следила за происходящим, стараясь не выказывать своих чувств. Корсунский, как всегда, командовал парадом: то зазывал всех в общий круг, то в кадрили. Сердце Кире сжималось все сильнее. "Нет, дело не во всеобщем внимании, а в восхищении одного человека. И этот человек... неужели это он?" Каждый раз, когда он говорил с Аней, в ее глазах вспыхивал радостный огонек, и улыбка счастья трогала ее губы. Она словно сдерживала себя, чтобы не показывать свою радость, но это все равно отражалось на ее лице. "Но что он?" Кира посмотрела на него и похолодела. То, что она так отчетливо видела в отражении Ани, теперь проявилось и в нем. Куда делась его обычная уверенность, его спокойствие? Теперь, каждый раз, когда он обращался к Ане, он слегка наклонял голову, словно желая преклониться перед ней, и во взгляде его читалась покорность и... страх. "Я не хочу тебя обидеть, — словно говорил его взгляд, — я просто хочу спастись, но не знаю, как". На его лице было выражение, которого Кира никогда раньше не видела.

Они говорили о каких-то общих знакомых, вели ничего не значащую болтовню, но Кире казалось, что каждое их слово решает их судьбу, и ее собственную. И странно, что, хотя они обсуждали, как смешно выглядит Иван Иванович со своим французским, и что для Елецкой можно было бы найти более подходящую партию, эти слова имели для них какое-то скрытое значение, и они чувствовали это так же, как и Кира. Весь этот вечер, все эти люди, все вокруг словно заволокло туманом в душе Киры. Только строгое воспитание, полученное ею, помогало ей держаться и делать то, что от нее требовалось: танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но перед началом медленного танца, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары потянулись из маленькой комнаты в большой зал, на Киру накатила волна отчаяния и ужаса. Она отказала уже нескольким парням и теперь осталась без пары. И не было даже надежды, что ее пригласят, именно потому, что она всегда пользовалась успехом, и никому не приходило в голову, что она может быть свободна. Нужно было сказать матери, что она плохо себя чувствует, и уехать домой, но у нее не было сил. Она чувствовала себя раздавленной.

Она отошла вглубь небольшой гостиной и опустилась в кресло. Легкая юбка платья взметнулась облаком вокруг ее тонкой талии; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука бессильно утонула в складках розовой ткани; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, вопреки этому образу бабочки, только что уцепившейся за травинку и готовой вот-вот вспорхнуть и расправить свои радужные крылья, страшное отчаяние сжимало ее сердце.

"А может быть, я ошибаюсь? Может быть, ничего этого не было?" И она снова и снова прокручивала в голове все, что видела.

— Кира, что случилось? — спросила тетя Лена, бесшумно подойдя к ней по ковру. — Я ничего не понимаю.

У Киры задрожала нижняя губа; она быстро встала.

— Кира, ты не танцуешь?

— Нет, нет, — сказала Кира дрожащим от слез голосом.

— Он при мне пригласил ее, — сказала Лена, зная, что Кира поймет, о ком речь. — Она ответила: "Разве вы не танцуете с Кирой?"

— Ах, мне все равно! — ответила Кира.

— Да плевать! — огрызнулась Кити.

Никто, кроме нее, не понимал, что творится у нее в душе. Никто не знал, что вчера она отшла парня, к которому, возможно, еще испытывала чувства, и все из-за веры в другого.

Графиня Нордстон выцепила Корсунского, с которым танцевала, и скомандовала ему пригласить Кити на медленный танец.

Кити танцевала в первой паре, и, к счастью, не нужно было поддерживать разговор. Корсунский, как заводной, носился вокруг, разруливая организационные вопросы. Вронский и Анна сидели почти напротив. Кити видела их, как на ладони, и вблизи, когда их пары пересекались. И чем больше она на них смотрела, тем сильнее убеждалась: ее личная катастрофа свершилась. Они были словно в своем мире, несмотря на толпу вокруг. На лице Вронского, обычно таком уверенном и независимом, застыло то самое поразившее ее выражение растерянности и покорности, как у умной собаки, знающей, что натворила.

Анна улыбалась, и эта улыбка передавалась Вронскому. Она задумывалась, и он становился серьезным. Какая-то невидимая сила приковывала взгляд Кити к Анне. Она была великолепна в своем простом черном платье, прекрасны ее полные руки с браслетами, изящная шея с ниткой жемчуга, чуть растрепавшиеся локоны, грациозные движения рук и ног, красивое, оживленное лицо. Но в этой красоте было что-то пугающее, даже жестокое.

Кити любовалась ею еще больше, чем раньше, и страдала еще сильнее. Она чувствовала себя раздавленной, и это отражалось на ее лице. Когда Вронский столкнулся с ней в танце, он не сразу ее узнал – так она изменилась.

— Отличная вечеринка, — сказал он, просто чтобы что-то сказать.

— Да, — ответила она.

В середине танца, повторяя сложную фигуру, придуманную Корсунским, Анна вышла в центр круга, взяла двух кавалеров, подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, приближаясь. Анна прищурилась, посмотрела на нее и улыбнулась, пожав руку. Но, увидев в глазах Кити только отчаяние и удивление, отвернулась и весело заговорила с другой дамой.

«Да, в ней есть что-то чуждое, демоническое и прекрасное», — подумала Кити.

Анна не хотела оставаться на ужин, но хозяин стал уговаривать.

— Ну что вы, Анна Аркадьевна, — заговорил Корсунский, беря ее обнаженную руку под рукав пиджака. — У меня такая идея для конкурса! Просто бомба!

И он, понемногу двигаясь, пытался увлечь ее за собой. Хозяин одобрительно улыбался.

— Нет, я не останусь, — ответила Анна с улыбкой. Но, несмотря на улыбку, и Корсунский, и хозяин поняли по ее решительному тону, что она не передумает.

— Нет, я сегодня у вас натанцевалась больше, чем за всю зиму в Питере, — сказала Анна, бросив взгляд на стоявшего рядом Вронского. — Нужно отдохнуть перед дорогой.

— Вы точно уезжаете завтра? — спросил Вронский.

— Да, думаю, — ответила Анна, словно удивляясь его смелости. Но неудержимый, дрожащий блеск в ее глазах и улыбка обожгли его, когда она это говорила.

Анна Аркадьевна не осталась на ужин и уехала.

XXIV.

"Да, есть во мне что-то неприятное, отталкивающее," — думал Лёвин, выйдя от Щербацких и пешком направляясь к брату. "Не гоюсь я для общения. Говорят, гордость. Нет, у меня и гордости-то нет. Иначе не оказался бы в таком дурацком положении." Он представил себе какого-нибудь успешного волонтера, собранного, уверенного, который никогда не испытывал подобной душевной муки. "Да, она, наверное, выбрала бы его. Так и должно быть, и жаловаться не на что. Сам виноват. С чего я взял, что она захочет связать жизнь со мной? Кто я такой? Что я из себя представляю? Никчемный человек, никому не нужный." И он вспомнил о брате Николае и с облегчением переключился на эти мысли. "Прав ли он, что в мире столько мерзости? И справедливо ли мы судим о Николае? Конечно, с точки зрения какого-нибудь чиновника, видевшего его пьяным и оборванным, он – пропащий человек. Но я-то знаю его другим. Я знаю его душу, и мы с ним похожи. А я, вместо того чтобы поехать к нему, поехал ужинать..." Лёвин подошел к уличному фонарю, достал из бумажника адрес брата и поймал такси.

Всю дорогу к брату Лёвин вспоминал разные эпизоды из его жизни. Как Николай в университете, несмотря на насмешки сокурсников, жил как отшельник, строго соблюдая религиозные обряды, посты, избегая развлечений, особенно женщин. А потом вдруг сорвался, связался с сомнительными личностями и пустился во все тяжкие. Вспоминал историю с парнем из Донбасса, которого он взял под опеку, чтобы помочь адаптироваться, но в порыве гнева сорвался и накричал на него, так что пришлось извиняться. Вспоминал, как проиграл деньги в карты, влез в долги, а потом пытался доказать, что его обманули. (Это были деньги, которые дал Сергей Иванович.) Потом – ночь в отделении за мелкое хулиганство. Вспоминал скандальный спор с братом Сергеем Ивановичем из-за наследства матери; и последнее – службу по контракту, где он получил дисциплинарное взыскание за нарушение устава.

Всё это было отвратительно, но Лёвину казалось не таким уж ужасным, как могло бы показаться тем, кто не знал Николая, его историю, его душу. Лёвин помнил, как в период рели-

гиозного фанатизма, когда Николай искал в вере опору, никто его не поддержал, а только смеялись. Дразнили его "монахом", а когда он сломался, все отвернулись с отвращением.

Лёвин чувствовал, что в глубине души, несмотря на все ошибки, брат Николай не хуже тех, кто его презирает. Он не виноват, что родился с таким неуправляемым характером и сложным складом ума. Но он всегда хотел быть лучше. "Всё ему расскажу, всё выслушаю, покажу, что люблю и понимаю его," – решил Лёвин, подъезжая около одиннадцати вечера к хостелу, указанному в адресе.

Лёвин чувствовал: брат Николай, несмотря на весь ужас своей жизни, в самой глубине души не был хуже тех, кто его презирал. Не его вина, что он родился с таким неукротимым характером и сложным умом. Он ведь всегда хотел быть лучше. "Всё ему скажу, всё вытащу из него, покажу, что люблю и потому понимаю", – решил Лёвин, подъезжая около одиннадцати к гостинице, адрес которой ему дали.

– Наверху, двенадцатый и тринадцатый, – ответил швейцар на вопрос Лёвина.

– Он там?

– Должен быть.

Дверь двенадцатого номера была приоткрыта, оттуда валил густой дым дешёвых сигарет, слышался незнакомый голос. Но Лёвин сразу понял: брат здесь, он услышал его кашель.

Войдя, Лёвин услышал, как незнакомый голос говорил:

– Всё зависит от того, насколько грамотно и осознанно подойдём к делу.

Константин Лёвин заглянул в комнату и увидел молодого человека в толстовке с копной волос, а на диване сидела молодая женщина с рябым лицом, в шерстяном платье без рукавов и воротника. Брата не было видно. Сердце у Константина сжалось от мысли, в каком окружении живёт его брат. Никто его не заметил, и Константин, снимая берцы, прислушался к разговору. Говорили о каком-то проекте.

– Да чтоб их черти взяли, эти привилегированные! – прокашлялся голос брата. – Маша, принеси что-нибудь поужинать и вина, если осталось, или сгоняй.

Женщина встала, вышла из-за перегородки и увидела Константина.

– Там какой-то мужчина, Николай Дмитриевич, – сказала она.

– Кого надо? – сердито спросил Николай Лёвин.

– Это я, – ответил Константин Лёвин, выходя на свет.

– Кто я? – ещё сердитее повторил Николай. Было слышно, как он резко встал, зацепившись за что-то. И Лёвин увидел в дверях знакомую и всё же поражающую своей дикостью и болезненностью огромную, худую фигуру брата, с его большими испуганными глазами.

Он исхудал ещё больше, чем три года назад, когда Константин Лёвин видел его в последний раз. На нём был короткий пиджак. Руки и широкие кости казались ещё больше. Волосы поредели, те же прямые усы висели над губой, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего.

– А, Костя! – вдруг произнёс он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но тут же он оглянулся на молодого человека и сделал знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, словно воротник давил, и совсем другое, дикое, страдальческое и злое выражение застыло на его исхудалом лице.

– Я писал и тебе, и Сергею Ивановичу, что не знаю вас и знать не хочу. Что тебе, что вам нужно?

Он был совсем не таким, каким представлял его Константин. Самое тяжёлое и неприятное в его характере, то, что так затрудняло общение, было забыто Константином Лёвиным, когда он думал о нём. И теперь, увидев его лицо, особенно это судорожное поворачивание головы, он всё вспомнил.

– Мне ничего не нужно от тебя, – робко ответил он. – Я просто приехал повидаться.

Робость брата, видимо, смягчила Николая. Уголки его губ дрогнули.

Брат, казалось, смутился, и Николая это немного разрядило. Он дернул уголком губ.

— А, вот как? — сказал он. — Ну, проходи, присаживайся. Ужинать будешь? Маша, три порции. Стой. Ты знаешь, кто это? — обратился он к брату, указывая на мужчину в толстовке. — Это Кирилл, мой товарищ еще с Майдана, принципиальный человек. Его, конечно, сейчас прессуют, потому что он не хочет быть как все.

И он оглядел всех присутствующих, как у него было заведено. Заметив, что женщина в дверях собирается уйти, он крикнул: "Стой, я сказал!" И с той же неловкостью, сбивчивостью, которые Константин так хорошо знал, он, снова оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Кирилла: как его отчислили из университета за то, что он организовал волонтерскую группу помощи переселенцам и проводил бесплатные курсы украинского языка, как потом он пошел преподавать в школу для детей из Донбасса, и как его оттуда тоже уволили, а потом еще и судили за что-то.

— Вы из Киевского университета? — спросил Константин у Кирилла, чтобы разрядить повисшее молчание.

— Да, был, — угрюмо ответил Кирилл.

— А это, — перебил Николай, указывая на женщину, — моя близкая подруга, Мария Николаевна. Я вытащил ее из передраги, — и он дернул шеей, произнося это. — Но я ее люблю и уважаю, и всех, кто хочет со мной общаться, — добавил он, повысив голос и нахмурившись, — прошу любить и уважать ее. Она мне как жена, понимаете? Так что знай, с кем имеешь дело. И если думаешь, что это тебя как-то запяпнает, то вот Бог, вот порог.

И снова его глаза вопросительно обежали всех.

— Почему это должно меня запяпнать, я не понимаю.

— Так, Маша, неси ужин: три порции, водки и вина... Нет, погоди... Ладно, не надо... Иди. XXV.

— Ну, вот, видишь, — продолжал Николай, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему явно было трудно собраться с мыслями. — Видишь ли... — Он указал на какие-то железные уголки, связанные проволокой, в углу комнаты. — Видишь? Это начало нового проекта, которым мы занимаемся. Это производственный кооператив...

Константин почти не слушал. Он смотрел на его болезненное, изможденное лицо, и ему становилось все жалче брата, и он не мог заставить себя вслушиваться в его рассказ о кооперативе. Он понимал, что этот кооператив — всего лишь попытка спастись от презрения к самому себе. Николай продолжал говорить: — Ты же знаешь, как капитал давит на простого человека, как наши работяги, мужики, тянут на себе всю тяжесть жизни и находятся в таком положении, что сколько бы ни вкалывали, не могут вырваться из нищеты. Вся прибыль, которую они могли бы использовать, чтобы улучшить свою жизнь, получить образование, все излишки зарплаты — забирают себе капиталисты. И так устроено общество, что чем больше они работают, тем больше наживаются барыги, землевладельцы, а они так и остаются скотами, рабами. И этот порядок нужно менять, — закончил он и вопросительно посмотрел на брата.

— Да, конечно, — ответил Константин, глядя на румянец, выступивший на скулах брата.

— И мы вот организуем слесарную мастерскую, где все производство, вся прибыль и основные средства производства будут общими.

— А где будет мастерская? — спросил Константин.

— В селе Воздрем Казанской области.

— А почему в селе? В селах, мне кажется, и так дел хватает. Зачем в селе слесарная мастерская?

— Почему именно в селе? В деревнях и так работы хватает. Зачем там слесарная артель?

— А затем, что мужики сейчас те же крепостные, как и раньше. И вас с Сергеем Ивановичем это раздражает, что их хотят из этого рабства вытащить, — ответил Николай Левин, раздраженный.

Константин Левин вздохнул, оглядывая мрачную и неудобную комнату. Этот вздох, казалось, ещё больше разозлил Николая.

— Знаю ваши с Сергеем Иванычем аристократические взгляды. Знаю, что он весь свой ум тратит на то, чтобы оправдать существующую несправедливость.

— Да при чём тут Сергей Иваныч? — улыбаясь, возразил Левин.

— Сергей Иваныч? А вот при чём! — вдруг выкрикнул Николай Левин, услышав это имя. — Да что говорить? Одно скажу... Зачем ты ко мне приехал? Ты это презираешь, и отлично, так иди с Богом, иди! — закричал он, вставая со стула. — Иди, иди!

— Я ничего не презираю, — робко сказал Константин Левин. — Я даже не спорю.

В этот момент вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито посмотрел на неё. Она быстро подошла и что-то прошептала ему.

— Я нездоров, стал раздражительным, — проговорил Николай Левин, успокаиваясь и тяжело дыша. — И потом, ты мне про Сергея Иваныча и его статью... Это же чушь, враньё, самообман. Что может писать о справедливости человек, который её не знает? Вы читали его статью? — обратился он к Крицкому, снова садясь за стол и сдвигая с него наполовину насыпанные сигареты, чтобы освободить место.

— Не читал, — мрачно ответил Крицкий, явно не желая вступать в разговор.

— Почему? — с раздражением спросил Николай Левин.

— Потому что не считаю нужным тратить на это время.

— Позвольте, почему вы знаете, что потеряете время? Многим эта статья недоступна, то есть выше их понимания. Но я другое дело, я вижу его мысли насквозь и знаю, почему это слабо.

Все замолчали. Крицкий медленно встал и взял шапку.

— Ужинать не будете? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем.

Как только Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул.

— Тоже не в порядке, — проговорил он. — Я же вижу...

Но в этот момент Крицкий позвал его из коридора.

— Что ещё? — сказал он и вышел к нему.

Оставшись наедине с Марьей Николаевной, Левин спросил:

— Вы давно с братом?

— Уже второй год. Здоровье у него совсем плохое. Пьёт много, — ответила она.

— Как пьёт?

— Водку пьёт, а ему нельзя.

— Много? — прошептал Левин.

— Да, — сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой появился Николай Левин.

— О чём говорили? — спросил он, хмурясь и испуганно переводя взгляд с одного на другого. — О чём?

— Ни о чём, — смущённо ответил Константин.

— Не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней разговаривать. Она простая, а ты барин, — проговорил он, подёргивая шеей.

— Ты, я вижу, всё понял и оценил, и с сожалением относишься к моим заблуждениям, — заговорил он снова, повышая голос.

— Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич, — прошептала Марья Николаевна, приближаясь к нему.

— Ладно, ладно! Да где же ужин? А, вот и он, — проговорил он, увидев официанта с подносом. — Сюда, сюда ставь, — сказал он сердито и тут же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. — Выпей, хочешь? — обратился он к брату, тут же повеселев.

– Ладно, ладно!... А где же ужин? А, вот и он, – проговорил он, увидев официанта с подносом. – Сюда, сюда ставь, – сказал он сердито и тут же схватил бутылку водки, налил рюмку и жадно выпил. – Выпьешь? – обратился он к брату, тут же повеселев.

– Ну, хватит о Сергее Ивановиче. Я всё-таки рад тебя видеть. Что ни говори, а всё-таки родные. Ну, выпей же. Расскажи, чем занимаешься? – продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая еще одну рюмку. – Как вообще живёшь?

– Живу один в деревне, как и раньше, занимаюсь хозяйством, – ответил Константин, с ужасом глядя на то, как жадно брат пьёт и ест, и стараясь скрыть своё внимание.

– Почему ты не женишься?

– Не случилось, – покраснев, ответил Константин.

– Почему? У меня – всё кончено! Я свою жизнь сломал. Я это говорил и скажу, что если бы мне тогда дали мою долю наследства, когда она мне нужна была, вся моя жизнь сложилась бы иначе.

Константин Дмитриевич поспешил сменить тему.

– А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском работает, в офисе? – сказал он. Николай дернул головой и задумался.

– Да расскажи мне, что там в Покровском? Дом всё стоит, и берёзы, и наша старая школа? А Филипп, садовник, неужели ещё жив? Как я помню беседку и диван! Слушай, ничего не меняй в доме, но лучше женись и верни всё, как было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошей.

– Да приезжай сейчас ко мне, – сказал Лёвин. – Как бы мы хорошо устроились!

– Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не встречу Сергея Ивановича.

– Ты его не встретишь. Я живу совершенно независимо от него.

– Да, но, как ни крути, ты должен выбрать между мной и им, – сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина.

– Если хочешь знать моё мнение по этому поводу, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не принимаю ничью сторону. Вы оба не правы. Ты не прав больше внешне, а он – внутренне.

– А, а! Ты понял это, ты понял это? – радостно воскликнул Николай.

– Но я, лично, если тебе интересно, больше ценю дружбу с тобой, потому что...

– Почему, почему?

Константин не мог сказать, что он ценит его дружбу, потому что Николай несчастен и нуждается в поддержке. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, снова потянулся к водке.

– Хватит, Николай Дмитриевич! – сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую руку к бутылке.

– Отстань! Не трогай! Ударю! – крикнул он.

Марья Николаевна улыбнулась кроткой и доброй улыбкой, которая передалась и Николаю, и взяла бутылку.

– Ты думаешь, она ничего не понимает? – сказал Николай. – Она всё понимает лучше всех нас. Правда, в ней есть что-то хорошее, милое?

– Вы никогда раньше не были в Москве? – спросил её Константин, чтобы хоть что-то сказать.

– Не говори ей "вы". Она этого боится. Ей никто, кроме судьи, когда её судили за то, что она хотела уйти из притона, никто не говорил "вы". Боже мой, что за бред творится в мире! – вдруг воскликнул он. – Эти новые веяния, эти суды, эти волонтеры, что это за безобразие!

И он начал рассказывать о своих столкновениях с новыми порядками.

Константин Лёвин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных инициативах, которое он разделял с ним и часто высказывал, теперь было ему неприятно слышать из уст брата.

— На том свете всё поймём, — сказал он шутя.

— Там, наверху, всё поймём, — сказал он, пытаясь пошутить.

— Там наверху? Ох, не люблю я это "там наверху"! Не люблю, — произнёс он, задержав испуганный взгляд на лице брата. — И ведь, кажется, уйти бы от всей этой мерзости, неразберихи, чужой и своей, хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь. — Он передёрнулся. — Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедим куда-нибудь? В караоке, что ли? Знаешь, я что-то подсел на русские песни.

Язык у него заплетался, и он начал перескакивать с одной темы на другую. Константин, с помощью Маши, уговорил его никуда не ехать и уложил спать совершенно пьяного.

Маша обещала писать Константину, если что-то случится, и уговаривать Николая Левина переехать жить к брату.

XXVI

Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру был уже дома. По дороге, в поезде, он разговаривал с попутчиками о политике, о новых логистических цепочках, и, как и в Москве, его одолевала какая-то путаница в мыслях, недовольство собой, стыд перед чем-то. Но когда он вышел на своей станции, увидел знакомого водителя дядю Петю в куртке-аляске, когда в тусклом свете из окон станции разглядел свой выдавший виды "Соболь", своих коней под капотом, когда дядя Петя, пока укладывали вещи, рассказал ему местные новости – о приезде каких-то волонтеров и о том, что у коровы отёк вымя, – он почувствовал, что путаница постепенно рассеивается, а стыд и недовольство собой отступают. Это он почувствовал, просто увидев дядю Петю и машину. Но когда он надел привезённый ему пуховик, уселся, закутавшись, в салон и поехал, размышляя о предстоящих делах в хозяйстве и поглядывая на дорогу, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним произошло. Он чувствовал себя собой и другим быть не хотел. Он хотел теперь быть только лучше, чем был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что больше не будет надеяться на какое-то невероятное счастье, которое, как ему казалось, должна была принести женитьба, и, следовательно, не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он больше никогда не позволит себе увлечься той гадкой страстью, воспоминание о которой так мучило его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил для себя, что никогда больше не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не упустит его из виду, чтобы быть готовым помочь, когда ему будет плохо. А это случится скоро, он чувствовал. Потом и разговор брата о каких-то новых экономических моделях, к которому тогда он отнёсся так легко, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических отношений ерундой, но всегда чувствовал несправедливость своего достатка по сравнению с бедностью многих людей, и теперь решил про себя, что, для того чтобы чувствовать себя полностью правым, он, хотя и раньше много работал и жил скромно, теперь будет работать ещё больше и ещё меньше позволит себе излишеств. И всё это казалось ему таким простым, что всю дорогу он провёл в самых приятных мечтах. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу вечера подъехал к своему дому.

Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой няни, исполнявшей в его доме роль домоправительницы, падал свет на снег перед домом. Она ещё не спала. Кузьма, разбуженный ею, сонный и босиком выбежал на крыльцо. Дворняга Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, тёрлась о его ноги, поднималась и хотела, но не решалась положить передние лапы ему на грудь.

Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой няни, которая теперь за домом присматривала, свет падал на заснеженный двор. Она еще не спала. Кузьма, которого она разбудила,

сонный, в одних носках, выбежал на крыльцо. Овчарка Ласка, чуть не сбив Кузьму с ног, выско- чила следом и, повизгивая, терлась о его ноги, пыталась запрыгнуть, но не решалась.

– Скоро же, батюшка, вернулись, – сказала Агафья Михайловна.

– Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, – ответил он и про- шел в кабинет.

В кабинете медленно разгорался свет от принесенной свечи. Проступили знакомые детали: рога лося на стене, полки с книгами, зеркало над камином, который давно пора почи- стить, старый диван отца, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, блок- нот с его записями. Когда он все это увидел, на мгновение засомневался, сможет ли он постро- ить ту новую жизнь, о которой мечтал в дороге. Все эти вещи, свидетели его прошлой жизни, словно говорили: «Нет, ты не уйдешь от нас, не изменишься. Ты останешься таким же: с сомне- ниями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправиться, падениями и веч- ным ожиданием счастья, которое тебе не дано».

Но это говорили вещи, а другой голос в душе твердил, что не нужно подчиняться про- шлому, что все в его руках. И, прислушиваясь к этому голосу, он подошел к углу, где стояли две гири по шестнадцать килограмм, и начал поднимать их, стараясь взбодриться. За дверью слышались шаги. Он поспешно поставил гири на пол.

Вошел управляющий и доложил, что все, слава Богу, в порядке, но гречка в новой сушилке подгорела. Эта новость разозлила Левина. Новая сушилка была построена и частично придумана им самим. Управляющий всегда был против этой сушилки и теперь с плохо скры- ваемым торжеством сообщал о неудаче. Левин был уверен, что если гречка и подгорела, то только потому, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз говорил. Ему стало досадно, и он сделал управляющему выговор. Но была и радостная новость: отелилась Пава, лучшая, дорогая корова, купленная на выставке.

– Кузьма, дай куртку. А вы велите взять фонарь, я пойду посмотрю, – сказал он управ- ляющему.

Коровник для дорогих коров находился сразу за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к коровнику. Пахло навозом и теплым паром, когда открылась при- мерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая, черно-пестрая спина голштинской коровы. Бык Беркут лежал, и, казалось, хотел встать, но передумал и только фыркнул пару раз, когда они проходили мимо. Красная красавица, громадная, как бегемот, Пава, повернувшись задом, заслоняла от входя- щих теленка и обнюхивала его.

Левин вошел в стойло, оглядел Паву и поднял красно-пестрого теленка на его шаткие, длинные ноги. Взволнованная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку, и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая вымя, тыкалась носом под живот матери и крутила хвостиком.

– Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь, – говорил Левин, осматривая телку. – В мать! Даром что мастью в отца. Очень хороша. Длинная и широкая. Василий Федорович, ведь хороша? – обратился он к управляющему, совершенно примирясь с ним из-за гречки под влиянием радости за телку.

— Сюда свети, Фёдор, фонарь сюда, — говорил Лёвин, осматривая тёлку. — В мать вся! Хоть мастью в отца. Очень хороша. Длинная и сбитая. Василий Фёдорович, ведь хороша? — обратился он к приказчику, совершенно примирясь с ним после спора о гречке под влиянием радости за тёлку.

— А как же ей дурной быть? А Семён-снабженец на другой день после твоего отъезда приходил. Надо будет с ним поторговаться, Константин Дмитриевич, — сказал приказчик. — Я тебе раньше докладывал про машину.

Один этот вопрос ввёл Лёвина во все детали хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошёл в контору и, поговорив с приказчиком и с Семёном-снабженцем, вернулся домой и сразу поднялся наверх в гостиную.

XXVII

Дом был большой, старинный, и Лёвин, хотя жил один, топил и занимал весь дом. Он знал, что это глупо, знал, что это даже неправильно и противоречит его теперешним новым планам, но дом этот был целым миром для Лёвина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Лёвина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить со своей женой, со своей семьёй.

Лёвин едва помнил свою мать. Воспоминания о ней были для него священными; и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прекрасного, святого идеала женщины, каким была для него мать.

Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он сначала представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его представления о женитьбе поэтому не были похожи на представления большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих житейских дел; для Лёвина это было главным делом жизни, от которого зависело всё его счастье. И теперь от этого нужно было отказаться!

Когда он вошёл в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своём кресле с книгой, а Агафья Михайловна принесла ему чай и со своим обычным: «А я посижу, батюшка», села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался со своими мечтами и что он без них жить не может. С ней ли, с другой ли, он это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала; и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, успокаивалось и укладывалось.

Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл, и на те деньги, что ему подарил Лёвин, чтобы квадрокоптер купить, пьёт беспробудно и жену измучил; он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, вызванных чтением. Это была статья о новых агротехнологиях. Он вспоминал свои сомнения в эффективности этих технологий и вдруг всплывала радостная мысль: «Через два года у меня в стаде будет два десятка коров новой породы, да ещё если получится закупить списанные дроны-опрыскиватели — чудо!» Он опять взялся за книгу.

Он слушал, как Агафья Михайловна рассказывала, что Прохор совсем Бога забыл: деньги, что Лёвин дал на лошадь, пропивает, жену избил чуть не до смерти. Слушал и читал книгу, вспоминая ход своих мыслей, вызванных чтением. Книга была о тепловизорах. Он вспомнил, как критиковал их за то, что они слишком хвастаются своими разработками, а философского взгляда им не хватает. И вдруг радостная мысль: "Через два года у меня в стаде будут две голландские коровы, может, и Пава еще жива будет, двенадцать молодых дочерей от Беркута, да еще к ним трех из племзавода – вот это будет чудо!" Он снова взялся за книгу.

"Ну хорошо, тепло и электроника – одно и то же; но можно ли в уравнении одну величину заменить другой? Нет. И что? Связь между всеми технологиями и так чувствуется инстинктом... Особенно приятно будет, когда дочь Павы станет красно-пестрой коровой, и все стадо, куда этих трех добавить... Отлично! Выйти с женой и гостями встречать стадо... Жена скажет: мы с Костей эту телочку, как ребенка, выхаживали. Как это может вас так интересовать? – спросит гость. Все, что его интересует, интересует и меня. Но кто она? – И он вспомнил то, что произошло в Москве... – Ну что же делать?.. Я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Глупости, что жизнь не допустит, что прошлое не допустит. Надо бороться, чтобы жить лучше, гораздо лучше..." Он поднял голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсем оправившаяся от радости его приезда и бегавшая лаять во двор, вернулась, виляя хвостом и принося с собой

запах свежего воздуха, подошла к нему, подsunула голову под руку, жалобно поскуливая и требуя ласки.

– Только не говорит, – сказала Агафья Михайловна. – А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал, и ему скучно.

– Почему же скучно?

– Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальства при господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье, да совесть чиста.

Лёвин пристально смотрел на нее, удивляясь, как она поняла его мысли.

– Что ж, принести еще чайку? – сказала она и, взяв чашку, вышла.

Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у его ног свернулась кольцом, положив голову на высунутую заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она слегка приоткрыла рот, поцокала губами и, удобнее устроив около старых зубов липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Лёвин внимательно следил за этим последним ее движением.

"Вот так и я! – сказал он себе. – Вот так и я! Ничего... Все хорошо".

XXVIII.

После бала, рано утром, Анна Аркадьевна отправила мужу сообщение о своем выезде из Москвы в тот же день.

– Нет, мне надо, надо ехать, – объясняла она невестке перемену своего решения таким тоном, будто вспомнила столько дел, что не перечислить, – нет, уж лучше сегодня!

Степан Аркадьич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в семь часов вечера.

Степан Аркадьевич обещал заскочить вечером, проводить сестру на вокзал, около семи.

Кити тоже не приехала, прислала сообщение, что мигрень. Долли и Анна обедали с детьми и гувернанткой. То ли дети такие переменчивые, то ли почувствовали, что Анна сегодня совсем другая, не такая, как в тот день, когда она им так понравилась, – как будто она уже не с ними, не вовлечена в их игры. В общем, они вдруг потеряли интерес к тете, и их совершенно не волновал ее отъезд. Анна все утро занималась сборами. Писала короткие сообщения московским подругам, разбирала счета, укладывала вещи. Долли заметила, что она не в самом спокойном расположении духа, а в той тревожной суеде, которая знакома самой Долли и которая обычно возникает не просто так, а часто скрывает недовольство собой. После обеда Анна ушла переодеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней.

– Ты сегодня какая-то странная, – сказала Долли.

– Я? Тебе кажется? Я не странная, просто... дурное настроение. Бывает. Все время хочется плакать. Глупо, конечно, но это пройдет, – быстро проговорила Анна и наклонила покрасневшее лицо к косметичке, куда складывала ночной чепчик и батистовые платочки. Глаза ее особенно блестели, и в них дрожали слезы. – Так не хотелось уезжать из Питера, а теперь отсюда не хочется.

– Ты приехала сюда и сделала доброе дело, – сказала Долли, внимательно наблюдая за ней.

Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами.

– Не говори так, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Мне иногда кажется, что люди сговорились меня идеализировать. Что я сделала? Что могла сделать? У тебя просто хватило любви в сердце, чтобы простить...

– Без тебя, Бог знает, что было бы! Какая ты счастливая, Анна! – сказала Долли. – У тебя все в душе ясно и хорошо.

– У каждого свои тараканы в голове.

– Какие у тебя тараканы? У тебя все так понятно.

– Есть! – вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка тронула ее губы.

– Ну, значит, они у тебя забавные, а не мрачные, – улыбаясь, сказала Долли.

– Нет, мрачные. Знаешь, почему я уезжаю сегодня, а не завтра? Хочу тебе кое-что признаться, это меня тяготит, – сказала Анна, решительно откидываясь на спинку кресла и глядя прямо в глаза Долли.

И, к своему удивлению, Долли увидела, что Анна покраснела до ушей, до темных локонов на шее.

– Да, – продолжала Анна. – Знаешь, почему Кити не приехала обедать? Она ревнует меня. Я испортила... я стала причиной того, что тот вечер был для нее мучением, а не радостью. Но, честно, честно, я не виновата, или виновата чуть-чуть, – сказала она тонким голосом, растягивая слово "чуть-чуть".

– Ой, как ты сейчас похожа на Стиву! – смеясь, сказала Долли.

Анна обиделась.

– О нет, о нет! Я не Стива, – сказала она, нахмурившись. – Я говорю тебе это, потому что я ни на минуту не позволяю себе даже усомниться в себе, – сказала Анна.

Но в тот момент, когда она произносила эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала раньше, чем планировала, только для того, чтобы больше с ним не встречаться.

– Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку и что он...

– Ты не представляешь, как это нелепо вышло. Я просто хотела помочь, а получилось совсем другое. Может быть, против моей воли...

Она покраснела и замолчала.

– О, они это сразу чувствуют! – сказала Долли.

– Ох, они это сейчас чувствуют! — сказала Дарья Александровна.

— Но я бы просто умерла от стыда, если бы там что-то серьезное с его стороны было, — перебила её Анна. — И я уверена, это всё забудется, и Кира перестанет меня ненавидеть.

— Знаешь, Аня, если честно, я не очень-то и хотела бы для Киры этого брака. И лучше, если всё так и закончится, если этот Вронский мог в тебя влюбиться за один вечер.

— Ах, Господи, это было бы так глупо! — сказала Анна, и опять краска удовольствия залила её лицо, когда она услышала свои мысли, произнесенные вслух. — И вот, я уезжаю, нажив себе врага в лице Киры, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты же всё уладишь, Даша? Правда?

Дарья Александровна едва сдерживала улыбку. Она любила Анну, но ей было приятно видеть, что и у неё есть свои слабости.

— Врага? Ну что ты такое говоришь.

— Я так бы хотела, чтобы вы все меня любили, как я вас люблю; а теперь я ещё больше вас полюбила, — сказала она со слезами на глазах. — Ах, какая же я сегодня дурочка!

Она промокнула лицо салфеткой и стала одеваться.

Уже перед самым отъездом приехал запоздавший Степан Аркадьевич, с красным, довольным лицом и запахом дорогого коньяка и сигары.

Чувствительность Анны передалась и Дарье Александровне, и, когда она в последний раз обняла золовку, она прошептала:

— Помни, Аня: то, что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я любила и всегда буду любить тебя, как лучшую подругу!

— Я не понимаю, за что, — проговорила Анна, целуя её и скрывая слезы.

— Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя дорогая!

XXIX.

«Ну, всё закончилось, и слава Богу!» — была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она в последний раз попрощалась с братом, который до третьего звонка стоял у двери вагона. Она села на своё место рядом с Анютой и огляделась в полумраке купе. «Слава Богу, завтра увижу Серёжу и Алексея Александровича, и моя жизнь, хорошая и привычная, вернется в прежнее русло».

«Ну, слава богу, всё закончилось!» — подумала Анна Аркадьевна, когда брат наконец отошёл от вагона после третьего звонка. Она села на своё место рядом с Аннушкой и огляделась в полумраке купе. «Завтра увижу Серёжу и Алексея Александровича, и жизнь вернётся в привычное русло».

С той же сосредоточенностью, что и весь день, Анна принялась устраиваться в дорогу. Быстрыми, ловкими движениями она открыла и закрыла свою красную сумочку, достала подушку, положила на колени, аккуратно укутала ноги пледом и откинулась на спинку. Пожилая женщина на верхней полке уже готовилась ко сну. Две другие пассажирки переговаривались с ней, а полная старушка кутала ноги и ворчала на отопление. Анна ответила им парой фраз, но, не увидев интереса к беседе, попросила Аннушку достать из сумки небольшой фонарик. Прикрепив его к столику, она достала из сумочки нож для бумаги и современный детектив.

Поначалу чтение не шло. Сначала мешала суета и ходьба по вагону. Потом, когда поезд тронулся, невозможно было не прислушиваться к стуку колёс. Затем внимание отвлекали снег, летящий в окно, и вид закутанного в бушлат проводника, промелькнувшего за окном. Разговоры о сильной метели за бортом тоже не способствовали сосредоточенности.

Но постепенно всё вошло в свою колею: та же тряска и стук, тот же снег за окном, те же перепады температуры от жара к холоду и обратно, те же лица в полумраке и приглушённые голоса. Анна начала читать и понимать прочитанное. Аннушка уже дремала, держа красную сумочку на коленях своими широкими руками в перчатках, на одной из которых виднелась дырка.

Анна Аркадьевна читала и понимала, но чтение не приносило удовольствия. Ей не хотелось следить за жизнью вымышленных персонажей. Ей самой хотелось жить. Читала ли она о том, как героиня ухаживает за раненым бойцом в госпитале, ей хотелось самой быть там, помогать, поддерживать. Читала ли она о том, как волонтер собирает помощь для беженцев, ей хотелось самой организовывать сборы и отправлять гуманитарные конвои. Читала ли она о том, как девушка-оператор дрона корректирует огонь артиллерии, ей хотелось самой управлять беспилотником и защищать свою землю. Но делать было нечего, и она, перебирая в руках гладкий нож для бумаги, заставляла себя читать дальше.

Анна, с той же тревогой, что преследовала её весь день, с нарочитой собранностью готовилась к поездке. Быстро и ловко открыла и закрыла свою сумку, достала небольшую подушку, положила на колени, аккуратно укутала ноги пледом и села, стараясь выглядеть спокойной. Соседка по купе уже устраивалась спать. Две другие женщины что-то говорили ей, а полная пожилая дама ворчала о холоде в вагоне, кутая ноги. Анна ответила им парой фраз, но, не желая вступать в долгий разговор, попросила Аннушку достать из сумки пауэрбанк с фонариком, прикрепила его к столику и достала из сумки электронную книгу.

Поначалу читать не получалось. Сначала мешали шум и суета, потом, когда поезд тронулся, она невольно прислушивалась к стуку колёс. Затем внимание отвлекали снег, бьющий в окно и налипающий на стекло, и силуэт проводника в форме, проходящего по коридору. Разговоры о сильной метели за окном тоже не способствовали чтению. Но постепенно всё вошло в привычную колею: та же тряска, тот же снег за окном, те же перепады температуры от жара к холоду и обратно, те же лица в полумраке и те же голоса. Анна начала читать и понимать смысл текста. Аннушка уже дремала, держа сумку на коленях своими широкими руками в перчатках, на одной из которых была дырка. Анна читала, но ей было неприятно следить за жизнью

вымышленных персонажей. Ей слишком хотелось жить самой. Читала ли она о том, как героиня ухаживает за больным, ей хотелось самой ходить неслышными шагами по палате; читала ли она о том, как депутат произносит речь, ей хотелось говорить эту речь самой; читала ли она о том, как девушка на квадроцикле гоняет по бездорожью, удивляя всех своей смелостью, ей хотелось делать это самой. Но делать было нечего, и она, перебирая пальцами гладкий корпус электронной книги, заставляла себя читать дальше.

Герой романа уже был близок к своему "европейскому счастью" – прибыльной должности и большому дому, и Анне хотелось вместе с ним наслаждаться этой жизнью, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей самой стыдно за это желание. Но почему стыдно? "Почему мне стыдно?" – спросила она себя с удивлением. Она отложила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в руках электронную книгу. Ничего стыдного не было. Она перебрала все свои воспоминания о Москве. Все были хорошими, приятными. Вспомнила вечеринку, вспомнила взгляд одного офицера, вспомнила все свои встречи с ним: ничего стыдного. Но вместе с тем чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно сейчас, когда она вспомнила об офицере, говорил ей: "Тепло, очень тепло, горячо". "Ну и что? – сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. – Что это значит? Неужели между мной и этим молодым человеком могут быть какие-то другие отношения, кроме приятельских?" Она презрительно усмехнулась и снова взялась за книгу, но уже не могла сосредоточиться на чтении. Она провела пальцем по экрану, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть не засмеялась от радости, внезапно охватившей её. Она чувствовала, что нервы её натянуты, как струны. Ей казалось, что глаза её раскрываются всё шире и шире, что пальцы на руках и ногах нервно двигаются, что внутри что-то давит на грудь, и что все образы и звуки в этом полумраке поражают её своей яркостью. Её постоянно мучили сомнения: вперёд ли едет поезд, или назад, или вовсе стоит на месте? Аннушка ли сидит рядом с ней, или незнакомая женщина? "Что там, на столике, куртка или какое-то животное? И кто я сама здесь? Я или кто-то другой?" Ей было страшно отдаваться этому состоянию забывтья. Но что-то влекло её туда, и она могла по своей воле отдаваться этому чувству или сдерживать его. Она встала, чтобы прийти в себя, откинула плед и сняла тёплую кофту. На мгновение она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужчина в длинной куртке без пуговицы – это истопник, что он смотрит на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в вагон; но потом опять всё смешалось... Мужчина принялся ковырять что-то в стене, старушка стала вытягивать ноги во всю длину вагона и заполнила его чёрным дымом; потом что-то страшно закричало и застучало, как будто кого-то раздирали на части; потом красный свет ослепил глаза, и потом всё закрылось стеной. Анна почувствовала, что проваливается в бездну. Но всё это было не страшно, а весело. Голос проводника, закутанного в форму, прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъехали к станции, и это был проводник. Она попросила Аннушку подать ей снятую кофту и платок, надела их и направилась к выходу.

Героиня романа уже почти достигла своего английского счастья – титула и поместья, и Алина мечтала поехать туда вместе с ним. Но вдруг ее пронзило чувство стыда, как будто ей должно быть стыдно за что-то, и ему тоже. Но за что? "За что мне должно быть стыдно?" – спросила она себя с обиженным удивлением. Она отложила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжимая в руках стилус. Ничего постыдного не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила вечеринку, вспомнила Кирилла и его влюбленный, покорный взгляд, вспомнила все их переписки и встречи: ничего постыдного. Но вместе с тем, именно в этих воспоминаниях чувство стыда усиливалось, словно какой-то внутренний голос шептал ей, когда она вспоминала о Кирилле: "Горячо, очень горячо, обжигает". "Ну и что? – сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. – Что это значит? Неужели я боюсь взглянуть правде в глаза? Неужели между мной и этим молодым добровольцем могут быть какие-то другие отношения, кроме дружеских?" Она презрительно усмех-

нулась и снова взялась за книгу, но уже не могла сосредоточиться на чтении. Она провела стилусом по экрану планшета, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть не рассмеялась вслух от радости, внезапно охватившей ее. Она чувствовала, что нервы ее натянуты, как струны, на какие-то невидимые колки. Ей казалось, что глаза ее раскрываются все шире, что пальцы на руках и ногах нервно подергиваются, что внутри что-то сжимает дыхание и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке кажутся необычайно яркими. Ее то и дело терзали сомнения: едет ли автобус вперед или назад, или стоит на месте. Аня ли сидит рядом с ней или незнакомая женщина? "Что там, на ручке кресла, куртка или зверь? И кто я здесь? Я сама или кто-то другой?" Ей было страшно отдаваться этому забвению. Но что-то влекло ее туда, и она могла по своему желанию погружаться в него и сопротивляться ему. Она встала, чтобы прийти в себя, откинула плед и сняла теплую кофту. На мгновение она очнулась и поняла, что вошедший худой мужчина в длинной куртке без пуговицы – водитель, что он смотрит на датчик температуры, что ветер и снег ворвались за ним в салон. Но потом все снова смешалось... Мужчина с длинной спиной принялся ковырять что-то в обшивке салона, старушка вытянула ноги во всю длину и наполнила салон черным облаком пыли, потом что-то страшно заскрипело и застучало, словно кого-то разрывали на части, потом красный свет фар ослепил глаза, и все закрылось стеной. Алина почувствовала, что падает в пропасть. Но это было не страшно, а весело. Голос человека, закутанного в шарф и засыпанного снегом, прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась: они подъехали к блокпосту, и это был военный. Она попросила Аню подать ей снятую кофту и платок, надела их и направилась к двери.

– Выходите? – спросила Аня.

– Да, нужно подышать. Здесь очень душно.

— Да, надо проветриться. Тут душно.

Она приоткрыла дверь купе. Порыв ветра с мокрым снегом тут же попытался ворваться внутрь, словно споря с ней за пространство. Ей стало как-то весело от этого напора. Она распахнула дверь шире и вышла на площадку вагона. Ветер, казалось, только и ждал ее, радостно засвистел в ушах, но она ухватилась рукой за холодный поручень и, придерживая подол куртки, спустилась на перрон и обошла вагон. На площадке ветер был сильный, но за вагоном образовался небольшой затишек. С наслаждением она вдохнула полной грудью морозный воздух, оглядывая освещенную станцию.

XXX.

Страшная метель бушевала между вагонами, завывая на столбах вдоль путей. Вагоны, столбы, люди – все вокруг было запорошено снегом. На мгновение буря стихала, но потом обрушивалась с новой силой, казалось, невозможно устоять. Несмотря на непогоду, по перрону бегали люди, оживленно переговариваясь, скрипя подошвами по доскам, открывая и закрывая двери вагонов. Чья-то согнутая тень промелькнула у ее ног, послышался стук молотка по металлу. "Депешу давай!" – раздался сердитый голос из бушующей темноты. "Сюда, пожалуйста! Двадцать восьмой вагон!" – кричали другие голоса, мимо пробежали укутанные в шарфы люди. Какие-то двое военных с огоньками сигарет во рту прошли совсем близко. Она снова вздохнула, пытаясь надышаться, и уже вытащила руку из кармана, чтобы взяться за поручень и вернуться в вагон, когда рядом с ней возник силуэт в военной форме, заслонив собой колеблющийся свет фонаря. Она обернулась и сразу узнала Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился к ней и спросил, не нужна ли ей помощь, не может ли он чем-нибудь помочь. Она долго молча смотрела на него и, несмотря на полумрак, видела, или ей казалось, что видела, то самое выражение восхищения, которое так поразило ее вчера. Не раз она говорила себе в последние дни, да и сейчас повторяла, что Вронский – всего лишь один из сотен одинаковых молодых людей, которых можно встретить повсюду, что она не позволит себе даже думать о нем. Но сейчас, в первое мгновение встречи, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не

нужно было спрашивать, зачем он здесь. Она знала это так же наверняка, как если бы он сам сказал, что приехал, чтобы быть рядом с ней.

— Я не знала, что вы здесь. Зачем вы здесь? — спросила она, опуская руку, которой уже коснулась поручня. Неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.

— Зачем я здесь? — повторил он, глядя ей прямо в глаза. — Вы знаете, я здесь, чтобы быть рядом с вами, — сказал он, — я не могу иначе.

И в этот момент, словно преодолев все препятствия, ветер обрушил снег с крыш вагонов, затрепал оторванным куском железа, и впереди жалобно и мрачно взревел гудок тепловоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасным. Он сказал то, чего желала ее душа, но чего боялся ее разум. Она молчала, и он видел борьбу на ее лице.

— Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, — произнес он покорно.

Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и настойчиво, что она долго не могла ответить.

— Это неправильно, то, что вы говорите, и я прошу вас, если вы порядочный человек, забудьте то, что вы сказали, как и я постараюсь забыть, — наконец ответила она.

— Ни одного вашего слова, ни одного вашего движения я не забуду никогда и не смогу...

— Ни одного твоего слова, ни одного жеста я никогда не забуду, да и не смогу...

— Хватит, хватит! — воскликнула она, безуспешно пытаясь придать лицу строгое выражение, в которое он так жадно вглядывался. Схватившись за холодный поручень, она поднялась по ступенькам и быстро вошла в тамбур вагона. Но там она остановилась, прокручивая в голове произошедшее. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она нутром чувствовала, что этот короткий разговор страшно их сблизил; и это ее одновременно пугало и радовало. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То напряжение, которое мучило ее вначале, не только вернулось, но и усилилось, достигнув такой степени, что она боялась, как бы в ней не лопнуло что-то слишком натянутое. Она не сомкнула глаз всю ночь. Но в этом напряжении и грезах, наполнявших ее воображение, не было ничего неприятного или мрачного; напротив, было что-то радостное, жгучее и волнующее. Под утро Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, уже рассвело, и поезд прибывал в Санкт-Петербург. Тут же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих дней обступили ее.

В Петербурге, как только поезд остановился и она вышла, первым, кто привлек ее внимание, был муж. «Боже мой! Почему у него такие уши стали?» — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, торчавшие из-под полей круглой шляпы. Увидев ее, он пошел навстречу, сложив губы в привычную насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какое-то неприятное чувство сжало ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, словно она ожидала увидеть его другим. Особенно поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Это было давнее, знакомое чувство, похожее на состояние при творства, которое она испытывала в отношениях с мужем; но прежде она не замечала этого чувства, а теперь она ясно и болезненно осознала его.

— Да, как видишь, любящий муж, любящий, как на второй год брака, сгорал от желания увидеть тебя, — сказал он своим медлительным, тонким голосом, тем тоном, который он почти всегда использовал с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.

— Сережа здоров? — спросила она.

— И это вся награда, — сказал он, — за мою пылкость? Здоров, здоров...

XXXI.

Бронский и не пытался заснуть этой ночью. Он сидел в своем кресле, то устремив взгляд прямо перед собой, то оглядывая входящих и выходящих, и если и прежде он поражал и волновал незнакомых людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он казался еще более гордым и самодостаточным. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой, нервный

парень, работающий в районном суде, сидевший напротив него, возненавидел его за этот вид. Парень и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и парень кривился, чувствуя, что теряет самообладание под давлением этого непризнания его человеком.

Вронский ничего и никого не видел. Он чувствовал себя царем, не потому, что верил, что произвел впечатление на Анну, — он еще не верил в это, — а потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость.

Вронский не видел вокруг никого. Он ощущал себя триумфатором, не потому, что был уверен, что произвел впечатление на Анну — до этого он еще не дошел — а потому, что то впечатление, которое она произвела на него, наполняло его счастьем и гордостью.

Что из этого выйдет, он не загадывал и даже не задумывался. Он чувствовал, как все его доселе разрозненные силы собрались в единый кулак и с невероятной энергией устремились к одной заветной цели. И это его опьяняло. Он знал лишь одно: он сказал ей правду, он ехал туда, где была она, и все счастье, весь смысл его жизни теперь заключался в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Твери, чтобы купить воды, и увидел Анну, первое, что сорвалось с его губ, было именно то, что он чувствовал. И он был рад, что сказал это, что она теперь знает и думает об этом. Он не сомкнул глаз всю ночь. Вернувшись в купе, он без конца прокручивал в голове все моменты, когда видел ее, все ее слова, и в его воображении, заставляя сердце замирать, возникали картины возможного будущего.

Когда в Москве он сошел с поезда, он чувствовал себя после бессонной ночи бодрым и свежим, словно после ледяного душа. Он задержался возле своего вагона, ожидая ее выхода. "Еще раз увижу, — говорил он себе, невольно улыбаясь, — увижу ее походку, ее лицо; она что-нибудь скажет, повернет голову, взглянет, может быть, улыбнется". Но прежде чем он увидел ее, он заметил ее мужа, которого начальник вокзала обходительно проводил сквозь толпу. "Ах, да! Муж!" Только сейчас Вронский впервые осознал, что муж — это реальный человек, связанный с ней. Он знал, что у нее есть муж, но не верил в его существование и поверил лишь сейчас, когда увидел его во плоти, с головой, плечами и ногами в строгом костюме. Особенно когда он увидел, как этот муж с чувством собственника спокойно взял ее под руку.

Увидев Алексея Александровича с его московским лоском и надменной уверенностью в себе, в дорогом пальто, с чуть сутулой спиной, он поверил в его реальность и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытывает человек, измученный жаждой, добравшийся до родника и обнаруживший в нем бродячую собаку, которая уже напилась и замутила воду. Походка Алексея Александровича, с его тяжеловесными шагами, особенно раздражала Вронского. Только за собой он признавал безоговорочное право любить ее. Но она была все та же, и ее вид, по-прежнему физически волнующий, возбуждающий и наполняющий его душу счастьем, произвел на него прежнее впечатление. Он приказал подбежавшему к нему из эконом-класса таджику-носильщику взять вещи и ехать, а сам направился к ней. Он наблюдал за первой встречей мужа с женой и заметил с пронизательностью влюбленного легкую скованность в ее голосе, когда она говорила с мужем. "Нет, она не любит и не может любить его", — решил он про себя.

Еще когда он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он с радостью заметил, что она почувствовала его приближение и обернулась было, но, узнав его, снова повернулась к мужу.

— Как вы доехали? — сказал он, наклоняясь перед ней и перед мужем одновременно, предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно.

— Спасибо, хорошо, — ответила она.

— Спасибо, очень приятно, — ответила она.

Лицо казалось уставшим, без той искры, что обычно плясала в глазах, готовая вот-вот вырваться в улыбку. Но на мгновение, когда она взглянула на него, что-то промелькнуло в ее взгляде, и, хотя этот огонек тут же погас, он был рад и этому. Она бросила взгляд на мужа, словно спрашивая, знает ли он этого человека. Алексей Александрович смотрел на Вронского с легким раздражением, пытаясь вспомнить, кто это. Уверенность Вронского натолкнулась на холодную, отстраненную самоуверенность Алексея Александровича.

— Это... Вронский, — представила Анна.

— А, кажется, знакомы, — равнодушно произнес Алексей Александрович, протягивая руку. — Вы летели туда с матерью, а обратно с сыном, — сказал он, словно отчеканивая каждое слово, как будто выдавал зарплату. — Вы, наверное, из отпуска? — спросил он и, не дожидаясь ответа, повернулся к жене, переходя на свой обычный шуточный тон: — Ну что, много слез было пролито в Москве при расставании?

Этим обращением к жене он давал понять Вронскому, что хочет остаться наедине, и, повернувшись к нему, слегка прикоснулся к козырьку кепки. Но Вронский обратился к Анне Аркадьевне:

— Надеюсь, будет возможность увидеться, — сказал он.

Алексей Александрович устало посмотрел на Вронского.

— Очень рад, — холодно ответил он, — по понедельникам у нас, так сказать, приемный день. — Затем, окончательно отпустив Вронского, он сказал жене: — И как удачно, что у меня нашлось полчаса, чтобы встретить тебя и проявить свою нежность, — продолжал он тем же шуточным тоном.

— Ты слишком уж подчеркиваешь свою нежность, чтобы я ее ценила, — ответила она в том же тоне, невольно прислушиваясь к шагам Вронского, удалявшегося за ними. «Но какое мне до этого дело?» — подумала она и спросила мужа, как провел время Сережа без нее.

— О, прекрасно! Мариэтт говорит, что он был очень мил и... должен тебя огорчить... не скучал по тебе так, как твой муж. Но еще раз спасибо, дорогая, что подарила мне этот день. Наш милый «самовар» будет в восторге. (Так он называл известную волонтерку Лидию Ивановну, за то, что она всегда обо всем переживала и волновалась.) Она о тебе спрашивала. И знаешь, если позволено советовать, тебе бы стоило к ней заехать сегодня. У нее сердце болит за всех. Сейчас она, помимо своих забот, занимается примирением семьи, где муж ушел на фронт, а жена осталась одна с детьми.

Лидия Ивановна была другом ее мужа и центром одного из волонтерских движений, с которым Анна была связана через мужа.

— Но я ей писала.

— Ей все нужно подробно. Заедь, если не устала, дорогая. Ну, тебе машину подаст Кондратий, а я еду в штаб. Опять буду обедать не один, — продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. — Ты не поверишь, как я привык...

И он, долго сжимая ей руку, с особой улыбкой посадил ее в машину.

XXXII.

Первым, кто встретил Анну дома, был сын. Он выскочил к ней на лестницу, несмотря на крики няни, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама, мама!» Добежав до нее, он повис у нее на шее.

— Я говорил вам, что мама! — кричал он няне. — Я знал!

— Я же говорил, мама приехала! — кричал он няне. — Я знал!

И сын, как и муж, вызвал у Анны чувство, похожее на легкое разочарование. Она представляла его себе лучше, чем он был на самом деле. Ей нужно было спуститься с небес на землю, чтобы наслаждаться им таким, какой он есть. Но и таким он был очарователен: со светлыми кудряшками, голубыми глазами и крепкими ножками в обтягивающих колготках. Анна испытывала почти физическое удовольствие от его близости и ласки, и душевное спо-

койствие, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые дети Долли передали, и рассказала сыну, что в Москве есть девочка Таня, и она умеет читать и даже учит других детей.

— Что, я хуже нее? — спросил Сережа.

— Для меня ты лучше всех на свете.

— Я знаю, — сказал Сережа, улыбаясь.

Анна едва успела выпить кофе, как доложили о приезде Ирины Львовны. Ирина Львовна была высокой, полной женщиной с нездоровым цветом лица и красивыми, задумчивыми темными глазами. Анна любила ее, но сегодня словно впервые увидела все ее недостатки.

— Ну что, мой друг, принесли мир? — спросила Ирина Львовна, только что войдя в комнату.

— Да, все это закончилось, но оказалось, что все это не так важно, как мы думали, — ответила Анна. — В целом, моя золовка слишком категорична.

Но Ирина Львовна, интересовавшаяся всем, что ее не касалось, имела привычку не слушать то, что ее действительно интересовало; она перебила Анну:

— Да, в мире много горя и зла, а я сегодня так измучена.

— А что случилось? — спросила Анна, стараясь сдержать улыбку.

— Я начинаю уставать от бесплодных попыток бороться за правду и иногда совсем теряю силы. Наш волонтерский центр (это была благотворительная организация, помогающая беженцам) сначала работал прекрасно, но с этими чиновниками ничего невозможно сделать, — добавила Ирина Львовна с насмешливой покорностью судьбе. — Они ухватились за идею, исказили ее и теперь обсуждают так мелко и ничтожно. Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают всю важность этого дела, а остальные только мешают. Вчера мне пишет Володя из-за границы...

Володя был известный блогер, поддерживающий наших ребят на фронте, и Ирина Львовна рассказала содержание его письма.

Затем Ирина Львовна рассказала еще о неприятностях и интригах против гуманитарной помощи Донбассу и уехала торопливо, так как ей в этот день нужно было еще на заседание одного фонда и в комитет помощи семьям мобилизованных.

«Ведь все это было и раньше, но почему я не замечала этого раньше?» — подумала Анна. — Или она сегодня особенно раздражена? А ведь смешно: ее цель — добро, она волонтер, а она все злится, и у нее все враги, и все враги в борьбе за добро».

После Ирины Львовны приехала подруга, жена крупного чиновника, и рассказала все городские новости. В три часа она уехала, пообещав приехать к ужину. Алексей Петрович был на совещании в правительстве. Оставшись одна, Анна до обеда провела время с сыном (он обедал отдельно) и привела в порядок свои вещи, прочитала и ответила на сообщения и письма, накопившиеся на столе.

Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала по дороге, и волнение совершенно исчезли. В привычной обстановке она снова почувствовала себя уверенной и безупречной.

Чувство неловкости, преследовавшее её по дороге, и тревога почти рассеялись. В привычной обстановке она снова ощущала уверенность и контроль над ситуацией.

Она с удивлением вспомнила вчерашнее состояние. "Что, собственно, произошло? Ничего особенного. Этот волонтер сморозил глупость, которую легко пресечь, и я ответила как надо. Рассказывать об этом мужу ни к чему. Говорить об этом — значит, придавать значение пустяку". Она вспомнила, как когда-то рассказала мужу о знаках внимания, которые оказывал ей в Петербурге молодой сотрудник министерства, и как Алексей Петрович ответил, что, вращаясь в обществе, любая женщина может столкнуться с подобным, но он полностью доверяет

её такту и никогда не опустится до ревности. "Значит, и сейчас не стоит говорить? Да, слава богу, и незачем", – решила она.

XXXIII.

Алексей Петрович вернулся из администрации в четыре часа, но, как это часто бывало, не сразу смог пройти к жене. Он задержался в кабинете, принимая посетителей и подписывая бумаги, принесённые помощником. К обеду (обычно у Карениных обедали трое гостей) приехали: дальняя родственница Алексея Петровича, начальник отдела с женой и молодой человек, которого рекомендовали Алексею Петровичу для работы в администрации. Анна вышла в гостиную, чтобы развлечь гостей. Ровно в пять часов, бронзовые часы "Пётр I" ещё не успели пробить пятый удар, как Алексей Петрович вышел в белой рубашке и пиджаке с двумя планками, так как сразу после обеда ему нужно было ехать на совещание. Каждая минута жизни Алексея Петровича была расписана и спланирована. Чтобы успевать делать всё, что ему предстояло каждый день, он придерживался строжайшей дисциплины. "Без спешки, но и без отдыха", – мог бы быть его девиз. Он вошёл в зал, поклонился всем и поспешно сел, улыбаясь жене.

– Да, закончилось моё уединение. Ты не поверишь, как неудобно (он сделал акцент на слове "неудобно") обедать одному.

— Да, закончился мой отпуск, — сказал Алексей, входя в столовую. — Ты не поверишь, как странно обедать одному.

За обедом он поговорил с женой о московских новостях, с легкой иронией расспрашивал о Степане Аркадьевиче, но в основном разговор шел о петербургских делах, о работе и общественной жизни. После обеда он уделил полчаса гостям и, снова с улыбкой пожав руку жене, уехал в свой офис. Анна в этот раз не поехала ни к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее на вечер, ни в театр, где у нее была ложа. Главным образом потому, что платье, на которое она рассчитывала, еще не было готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим гардеробом, Анна была очень раздражена. Перед поездкой в Москву она, обычно не тратившая много денег на одежду, отдала швее три платья на переделку. Нужно было так их изменить, чтобы они выглядели совершенно новыми, и они должны были быть готовы еще три дня назад. Оказалось, что два платья еще даже не начинали шить, а одно переделано совсем не так, как хотела Анна. Швея приехала объясняться, уверяя, что так будет лучше, и Анна так вспылила, что ей потом было стыдно вспоминать. Чтобы успокоиться, она пошла в детскую и весь вечер провела с сыном, сама уложила его спать, перекрестила и укрыла его одеялом. Она была рада, что никуда не поехала и так хорошо провела этот вечер. Ей было так легко и спокойно, так ясно она видела, что все, что ей казалось таким важным в поезде, было лишь обычным эпизодом светской жизни и что ей нечего стыдиться ни перед кем, ни перед собой. Анна села у камина с электронной книгой и ждала мужа. Ровно в половине десятого раздался звонок в дверь, и он вошел в комнату.

— Наконец-то ты! — сказала она, протягивая ему руку.

Он поцеловал ее руку и сел рядом.

— В целом, я вижу, что твоя поездка удалась, — сказал он ей.

— Да, очень, — ответила она и стала рассказывать ему все сначала: о своей попутчице, о приезде, о случае на вокзале. Потом рассказала о своих чувствах к брату и Долли.

— Я не думаю, что можно оправдать такое поведение, даже если это твой брат, — строго сказал Алексей Александрович.

Анна улыбнулась. Она знала, что он сказал это именно для того, чтобы показать, что родственные связи не помешают ему высказать свое искреннее мнение. Она знала эту черту своего мужа и любила ее.

— Я рад, что все хорошо закончилось и ты вернулась, — продолжал он. — Ну, что там говорят о поправках в закон, которые я провел в комитете?

Анна ничего не слышала об этих поправках, и ей стало стыдно, что она так легко забыла о том, что для него было так важно.

— Здесь, наоборот, это вызвало большой резонанс, — сказал он с довольной улыбкой.

Она видела, что Алексей Александрович хочет рассказать ей что-то приятное о своем успехе, и она вопросами подтолкнула его к рассказу. Он с той же довольной улыбкой рассказал о похвалах, которые он получил благодаря этим поправкам.

— Я был очень рад. Это доказывает, что у нас наконец-то начинает формироваться разумный и взвешенный взгляд на ситуацию.

Допив со сливками и печеньем свою вторую чашку чая, Алексей Александрович встал и пошел в свой кабинет.

— А ты никуда не выходила? Наверное, тебе было скучно? — сказал он.

— О, нет! — ответила она, вставая и провожая его через гостиную в кабинет. — Что ты сейчас читаешь? — спросила она.

— Да ладно тебе, — ответила Анна, поднимаясь следом и провожая его через гостиную в кабинет. — Что сейчас читаешь?

— Сейчас? — переспросил он. — Читаю... "Поэзию ада" Дюка де Лиля. Весьма примечательная вещь.

Анна улыbnулась, как улыбаются слабостям близких, и, взяв его под руку, проводила до двери кабинета. Она знала, что у него есть привычка, ставшая необходимостью, — читать по вечерам. Знала, что, несмотря на служебные обязанности, отнимающие почти всё время, он считает своим долгом следить за всем новым и значимым в интеллектуальной сфере. Ей было известно, что его по-настоящему интересуют книги о политике, философии и религии, а искусство ему чуждо. Но, несмотря на это, или, скорее, именно поэтому, Алексей Александрович не пропускал ничего, что вызывало шум в этой области, и считал своим долгом всё прочитать. В политике, философии и религии он сомневался и искал ответы, но в вопросах искусства и поэзии, особенно музыки, в которой совершенно не разбирался, у него были самые определенные и твердые мнения. Он любил рассуждать о Шекспире, Рафаэле, Бетховене, о значении новых направлений в поэзии и музыке, и все они были четко рассортированы в его голове.

— Ну, и Бог с тобой, — сказала она у двери кабинета, где уже были приготовлены абажур на лампе и графин воды у кресла. — А я напишу в Москву.

Он пожал ей руку и снова поцеловал.

"Всё-таки он хороший человек, честный, добрый и выдающийся в своей области, — подумала Анна, возвращаясь к себе, словно защищая его перед кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. — Но что это у него уши так странно торчат? Или он подстригся?"

Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, заканчивая письмо Долли, послышались ровные шаги в тапочках, и Алексей Александрович, вымытый и причесанный, с книгой под мышкой, подошел к ней.

— Пора, пора, — сказал он, особенно приветливо улыбаясь, и прошел в спальню.

"И какое право он имел так на него смотреть?" — подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича.

Раздевшись, она вошла в спальню, но на ее лице не было и следа того оживления, которое так и искрилось в ее глазах и улыбке в Москве. Напротив, огонь, казалось, погас или был спрятан где-то очень глубоко.

Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою просторную квартиру на Морской улице другу и любимому товарищу Петрицкому.

Петрицкий был молодым поручиком, не особенно знатным и совсем не богатым, а по уши в долгах. К вечеру он обычно был пьян и часто попадал на гауптвахту из-за разных смешных и не очень приличных историй, но его любили и товарищи, и начальство. Подъезжая около

полуночи от вокзала к своему дому, Вронский увидел у подъезда знакомую машину такси. Еще до звонка он услышал из-за двери мужской хохот, женский лепет и крик Петрицкого: "Если кто из врагов – не пускать!" Вронский велел водителю не объявлять о себе и тихо вошел в первую комнату. Баронесса Шильтон, подруга Петрицкого, блистая лиловым атласом платья и румяным белокурым личиком, и, словно канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела за круглым столом и варила кофе. Петрицкий в куртке и ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно, прямо со службы, сидели вокруг нее.

Петрицкий был молодой лейтенант, не из видных семей и совсем не богатый, скорее, по уши в долгах. К вечеру – завсегда в баре, и часто из-за разных смешных и дурацких выходов попадал в комендатуру, но его любили и сослуживцы, и начальство. Подъезжая около полуночи от вокзала к своей съемной квартире, Вронский увидел у подъезда знакомый внедорожник. Еще до звонка он услышал за дверью мужской хохот, женский смех и крик Петрицкого: «Если кто из чужих, не пускать!» Вронский велел водителю не объявлять о себе и тихо вошел в прихожую.

Некая мадам Шильтон, подруга Петрицкого, сияя платьем цвета фуксии и наруганным личиком, как канарейка, заполняла всю комнату своим московским говором. Она сидела за журнальным столиком, помешивая кофе. Петрицкий в толстовке и майор Камеровский в форме, вероятно, после дежурства, сидели вокруг нее.

– Bravo, Вронский! – закричал Петрицкий, вскакивая и чуть не опрокидывая стул. – Сам хозяин! Мадам, кофе ему из новой кофемашины. Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета, – сказал он, указывая на мадам Шильтон. – Вы ведь знакомы?

– Еще бы! – сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая наманикюренную ручку мадам. – Как же! Старые друзья.

– Вы прямо с поезда, – сказала мадам, – тогда я побегу. Ах, я уеду сию минуту, если помешаю.

– Вы дома там, где вы, мадам, – сказал Вронский. – Здравствуй, Камеровский, – добавил он, сухо пожимая руку майору.

– Вот вы никогда не умеете говорить такие комплименты, – обратилась мадам к Петрицкому.

– Да почему же? После третьей рюмки и я скажу не хуже.

– Да после третьей рюмки любой скажет! Ну, так я вам сделаю кофе, идите умывайтесь и переодевайтесь, – сказала мадам, снова садясь и заботливо настраивая кофемашину. – Пьер, подай кофе, – обратилась она к Петрицкому, которого называла Пьером по фамилии, не скрывая своих отношений с ним. – Я добавлю сироп.

– Испортишь.

– Нет, не испорчу! Ну, а твоя жена? – сказала вдруг мадам, перебивая разговор Вронского с товарищем. – Мы тут уже поженили вас. Привез жену?

– Нет, мадам. Я родился холостяком и умру холостяком.

– Тем лучше, тем лучше. Давай руку.

И мадам, не отпуская Вронского, стала рассказывать ему, пересыпая шутками, свои последние планы и спрашивать совета.

– Он все не хочет давать мне развод! Ну что же мне делать? (Он был ее бывший муж.) Я теперь хочу в суд подавать. Как вы мне посоветуете? Камеровский, следи за кофе – ушел; вы видите, я занята делами! Я хочу суд, потому что мне нужны мои деньги. Вы понимаете эту глупость, что я ему якобы изменяла, – с презрением сказала она, – и поэтому он хочет пользоваться моим имуществом.

— Он никак не хочет давать развод! Что мне делать? (Он же мой муж.) Я хочу через суд. Что посоветуете? Камеровский, где кофе? Ушел! Видите, я занята. Мне нужен развод,

чтобы вернуть мои деньги. Представляете, он утверждает, что я ему изменяю, — сказала она с презрением, — и поэтому хочет моими деньгами пользоваться.

Вронский слушал этот веселый щебет красивой женщины с удовольствием, поддакивал, давал полушутливые советы и сразу перешел к привычному тону общения с такими женщинами. В его петербургском кругу люди делились на два совершенно разных типа. Первый — низший: обычные, глупые и, главное, смешные люди, которые верят, что муж должен жить с одной женой, с которой он в браке, что девушка должна быть невинной, женщина — скромной, мужчина — мужественным, сдержанным и сильным, что нужно воспитывать детей, зарабатывать на жизнь, платить по счетам — и прочие глупости. Это были старомодные и смешные люди. Но был другой тип — настоящие, к которому они все принадлежали, где главное — быть элегантным, красивым, щедрым, смелым, веселым, отдаваться страстям, не стесняясь, и над всем остальным смеяться.

Вронский сначала был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных из Москвы. Но тут же, как будто надел старые тапочки, вернулся в свой прежний веселый и приятный мир.

Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и убежал, что и требовалось, то есть создал шум и смех и залил дорогой ковер и платье баронессы.

— Ну, пока! А то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление — нечистоплотность. Так что, советуете приставить нож к горлу?

— Обязательно, и так, чтобы ваша рука была рядом с его губами. Он поцелует вашу руку, и все закончится хорошо, — ответил Вронский.

— Тогда сегодня во Французском! — И, шурша платьем, она ушла.

Камеровский тоже поднялся, а Вронский, не дожидаясь его ухода, пожал ему руку и пошел в ванную. Пока он умывался, Петрицкий вкратце описал, как изменилась его жизнь после отъезда Вронского. Денег нет совсем. Отец сказал, что не даст и долги не заплатит. Портной грозит в суд подать, и еще один тоже. Командир полка сказал, что если скандалы не прекратятся, придется уйти из армии. Баронесса надоела хуже горькой редьки, особенно тем, что все время пытается дать денег. А есть одна, он ее Вронскому покажет, — чудо, прелесть, в восточном стиле, «генге рабыни Ребеки, понимаешь». С Беркошевым вчера тоже поругался, и тот хотел прислать секундантов, но, конечно, ничего не будет. В общем, все отлично и очень весело. И, не давая товарищу вникать в свои проблемы, Петрицкий начал рассказывать все интересные новости. Слушая знакомые рассказы Петрицкого в знакомой обстановке своей трехкомнатной квартиры, Вронский почувствовал приятное возвращение к привычной и беззаботной петербургской жизни.

— Не может быть! — закричал он, отпустив кран умывальника, которым обливал свою красную здоровую шею. — Не может быть! — закричал он, узнав, что Лора сошлась с Милеевым и бросила Фертингофа. — И он все такой же глупый и довольный? А Бузулуков что?

— Да быть не может! — заорал Вронский, отпуская кран у раковины, которой он только что окатил свою здоровенную красную шею. — Не может быть! — повторил он, услышав, что Лора закрутила с Милеевым и бросила Фертингофа. — И он так же туп и доволен? А Бузулуков что?

— О, с Бузулуковым вышла история – закачаешься! — Петрицкий аж подпрыгнул. — У него ж слабость – всякие приемы, он ни одного кремлевского не пропускает. Поперся на последний в новой форме. Ты видел новые нашивки? Крутые, легкие. Так вот, стоит он... Нет, ты слушай.

— Да слушаю я, — ответил Вронский, растираясь махровым полотенцем.

— Проходит мимо замминистра с каким-то иностранным послом, и, как назло, зашел у них разговор о новой форме. Замминистра и захотела показать, какая она... Видят, наш орел стоит. (Петрицкий изобразил, как он стоит, вытянувшись). Замминистра попросила дать ей

посмотреть нашивку, а он не дает. Что такое? Ему мигают, кивают, брови хмурят. Дай! Не дает. В ступор впал. Представляешь?! Этот... как его... чуть ли не силой срывать... не дает! Вырвал, отдает замминистру. «Вот, новая», – говорит замминистра. Повернула нашивку, и, можешь себе представить, оттуда – бац! – груша, конфеты, полкило конфет! Он это набрал, голубчик!

Вронский расхохотался до слез. И потом еще долго, уже говоря о другом, давился своим здоровым смехом, сверкая крепкими ровными зубами, вспоминая про конфеты в нашивке.

Узнав все новости, Вронский с помощью денщика надел китель и поехал отметить. После этого он собирался заехать к брату, к Бетси и сделать пару визитов, чтобы начать появляться в обществе, где он мог бы случайно встретить Каренину. Как обычно в Москве, он выехал из дома с намерением вернуться не раньше поздней ночи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

В конце зимы в квартире Щербацких собрался консилиум, чтобы решить, что с Кити и что делать, чтобы восстановить ее слабеющие силы. Она болела, и с приближением весны ей становилось только хуже. Участковый терапевт прописывал ей то рыбий жир, то железо, то еще какую-то ерунду, но ничего не помогало. И поскольку он советовал с наступлением тепла уехать на воды, пригласили светило. Светило, еще не старый, весьма импозантный мужчина, потребовал осмотра пациентки. Он с особым удовольствием, казалось, подчеркивал, что девичья стыдливость – это пережиток прошлого и что нет ничего более естественного, чем когда еще не старый мужчина ощупывает молодую обнаженную девушку. Он считал это естественным, потому что делал это каждый день и при этом ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось, дурного. Поэтому стыдливость в девушке он считал не только пережитком прошлого, но и личным оскорблением.

Пришлось покориться, потому что, несмотря на то, что все врачи учились в одном институте, по одним и тем же учебникам, знали одну и ту же науку, и несмотря на то, что некоторые говорили, будто этот светила – плохой врач, в семье княгини и в ее кругу почему-то считалось, что этот светила знает что-то особенное и только он может спасти Кити. После внимательного осмотра и прослушивания растерянной и смущенной до предела пациентки светила, тщательно вымыв руки, стоял в гостиной и беседовал с князем.

Пришлось согласиться, хотя все врачи учились по одним учебникам, знали одну науку, и, несмотря на то, что некоторые отзывались об этом светиле медицины нелестно, в доме княгини и в их кругу почему-то считалось, что именно этот знаменитый доктор обладает особым знанием и только он может спасти Китти. После тщательного осмотра и прослушивания смущенной и растерянной от стыда больной, знаменитый доктор, старательно вымыв руки, стоял в гостиной и беседовал с князем.

Князь хмурился, слушая доктора и прерывисто кашляя. Как человек, доживший до своих лет, неглупый и не больной, он не верил в медицину и в душе злился на весь этот спектакль, тем более, что едва ли не он один понимал истинную причину болезни Китти. "Пустозвон," – думал он, мысленно примеряя это слово из арсенала охотников к знаменитому доктору, слушая его рассуждения о симптомах болезни дочери. Доктор, в свою очередь, с трудом скрывал презрение к этому старому барину и с трудом снисходил до его примитивного понимания. Он понимал, что с этим стариком говорить не о чем и что настоящая хозяйка в доме – мать. Перед ней-то он и собирался рассыпать свой бисер. В этот момент в гостиную вошла княгиня с домашним врачом. Князь отошел в сторону, стараясь не показать, как смешна ему вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватой перед Китти.

– Ну, доктор, решайте нашу судьбу, – произнесла княгиня. – Говорите мне всё. "Есть ли надежда?" – хотела она спросить, но губы ее задрожали, и она не смогла произнести этот вопрос. – Ну что, доктор?...

– Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение.

– Так нам вас оставить?

– Как вам будет угодно.

Княгиня, вздохнув, вышла.

Когда доктора остались одни, домашний врач робко начал излагать свое мнение, заключающееся в том, что есть признаки начинающегося воспалительного процесса, но... и так далее. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи взглянул на свои дорогие швейцарские часы.

– Так, – сказал он. – Но...

Домашний врач почтительно замолчал на полуслове.

– Определить, как вы знаете, начало воспалительного процесса мы не можем; до появления явных признаков ничего определенного нет. Но подозревать мы можем. И указания есть: плохое питание, нервное перенапряжение и прочее. Вопрос стоит так: при подозрении воспалительного процесса что нужно сделать, чтобы поддержать организм?

– Но, ведь вы знаете, тут всегда скрываются психологические причины, – с тонкой улыбкой позволил себе вставить домашний доктор.

– Да, это само собой разумеется, – ответил знаменитый доктор, снова взглянув на часы. – Прошу прощения; как там с логистикой? Дороги открыты или еще нужно объезжать? – спросил он. – А! Отлично. Да, ну так я через двадцать минут могу быть свободен. Так вот, мы говорили, что вопрос стоит так: поддержать организм и успокоить нервы. Одно связано с другим, нужно действовать комплексно.

– Но поездка в санаторий? – спросил домашний доктор.

– Я не сторонник поездок в санатории. И вот почему: если есть начало воспалительного процесса, чего мы знать не можем, то поездка в санаторий не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало организм и не вредило.

И знаменитый доктор изложил свой план лечения минеральными водами, при назначении которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они навредить не могут.

Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал.

Домашний врач внимательно и с уважением выслушал.

— В пользу поездки за границу я бы отметил смену обстановки, удаление от всего, что вызывает тяжелые воспоминания. И потом, матери так хочется, — сказал он.

— А, ну, в таком случае, конечно, пусть едут. Только, эти немецкие знахари... Нужно, чтобы слушались советов. Ну, ладно, пусть едут.

Он снова посмотрел на часы.

— Ой, уже пора, — и направился к двери.

Знаменитый профессор считал своим долгом сообщить княгине, что ему необходимо еще раз осмотреть больную.

— Как, еще раз осматривать? — с испугом воскликнула мать.

— Нет-нет, мне нужны некоторые детали, княгиня.

— Милости просим.

И мать, в сопровождении профессора, вошла в гостиную к Кити. Похудевшая и с румянцем на щеках, с каким-то особенным блеском в глазах от пережитого смущения, Кити стояла посреди комнаты. Когда профессор вошел, она покраснела, и глаза ее наполнились слезами. Вся ее болезнь и лечение казались ей такой глупой, даже смешной затеей! Лечение представлялось ей таким же бессмысленным, как попытка склеить разбитую вазу. Сердце ее было разбито. Что же они хотят вылечить ее пилюлями и порошками? Но нельзя было обижать мать, тем более что мать чувствовала себя виноватой.

— Присаживайтесь, княжна, — сказал знаменитый профессор.

Он с улыбкой сел напротив нее, взял ее пульс и снова начал задавать утомительные вопросы. Она отвечала ему, но вдруг, разозлившись, встала.

— Простите, доктор, но это ни к чему не приведет. Вы одно и то же спрашиваете по три раза.

Знаменитый профессор не обиделся.

— Нервное расстройство, — сказал он княгине, когда Кити вышла. — Впрочем, я закончил...

И профессор перед княгиней, как перед исключительно умной женщиной, научно определил состояние княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были совершенно не нужны. На вопрос, стоит ли ехать за границу, профессор глубоко задумался, словно решал сложнейшую задачу. Решение наконец было озвучено: ехать, но не доверять шарлатанам, а во всем обращаться к нему.

После отъезда профессора словно случилось что-то радостное. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что тоже повеселела. Ей часто, почти всегда, приходилось теперь притворяться.

— Право, я здорова, маман. Но если вы хотите ехать, поедem! — сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящей поездкой, начала говорить о приготовлениях к отъезду.

II.

Вслед за профессором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и, несмотря на то, что недавно оправилась после родов (она родила девочку в конце зимы), несмотря на то, что у нее было много своих забот и горя, она, оставив грудного ребенка и заболевшую дочку, заехала узнать о судьбе Кити, которая решалась сегодня.

— Ну, что? — спросила она, входя в гостиную и не снимая шапки. — Вы все такие веселые. Значит, все хорошо?

Ей попытались рассказать, что говорил профессор, но оказалось, что, хотя профессор и говорил очень складно и долго, совершенно невозможно было передать то, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу.

Ей попытались пересказать, что говорил врач, но оказалось, что, хотя он и говорил складно и долго, суть его слов передать невозможно. Важно было только одно: решено ехать за границу.

Долли невольно вздохнула. Ее лучшая подруга, сестра, уезжала. А ее собственная жизнь была не из легких. Отношения со Степаном Аркадьичем после примирения стали унижительными. Хрупкий мир, восстановленный Анной, снова дал трещину в том же месте. Ничего конкретного не было, но Степана Аркадьича почти никогда не было дома, денег тоже, и подозрения в неверности постоянно мучили Долли. Она старалась отгонять их, боясь испытанной боли ревности. Первый взрыв ревности, однажды пережитый, уже не мог повториться в той же мере. Даже если бы она узнала об измене, это не поразило бы ее так сильно, как в первый раз. Теперь это просто лишило бы ее семейных привычек. Она позволяла себя обманывать, презирая его и, больше всего, себя за эту слабость. К тому же, заботы о большой семье постоянно давили на нее: то у грудного ребенка проблемы с питанием, то няня ушла, то, как сейчас, заболел один из детей.

— Ну, как твои? — спросила мать.

— Ах, маман, у вас и своих забот хватает. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот сейчас выехала, чтобы узнать, а то засяду дома безвылазно, если, не дай Бог, скарлатина.

Старый князь после ухода врача тоже вышел из своего кабинета и, подставив щеку Долли и поговорив с ней, обратился к жене:

— Ну что, решили, едете? А со мной что делать будете?

— Я думаю, тебе лучше остаться, Александр, — сказала жена.

— Как скажете.

— Мамап, почему папа не поедет с нами? — спросила Кити. — И ему веселее, и нам.

Старый князь встал и погладил волосы Кити. Она подняла лицо и, натянуто улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил о ней. Она была любимицей отца, и ей казалось, что его любовь делает его проникательным. Когда ее взгляд встретился с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее, ей показалось, что он видит ее насквозь и понимает все то нехорошее, что происходит в ее душе. Она, краснея, потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил:

— Эти дурацкие шиньоны! До настоящей дочери и не доберешься, а гладишь волосы мертвых женщин. Ну что, Долинька, — обратился он к старшей дочери, — твой "котик" как поживает?

— Ничего, папа, — ответила Долли, понимая, что речь идет о муже. — Все ездит по командировкам, я его почти не вижу, — не удержалась она от насмешливой улыбки.

— Что, он еще не уехал в область лес продавать?

— Нет, все собирается.

— Вот как! — протянул князь. — Так и мне собираться? Слушаю-с, — обратился он к жене, садясь. — А ты вот что, Катя, — добавил он, обращаясь к младшей дочери, — ты когда-нибудь, в один прекрасный день, проснись и скажи себе: да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папой опять рано утром по морозу гулять. А?

Казалось, слова отца были простыми, но Кити при этих словах смутилась и растерялась, как пойманная преступница. «Да, он все знает, все понимает и этими словами говорит мне, что, хотя и стыдно, но надо пережить этот стыд». Она не могла собраться с духом, чтобы ответить что-нибудь. Начала было говорить и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты.

— Вот твои шуточки! — набросилась княгиня на мужа. — Ты всегда... — начала она свою укоризненную речь.

— Вот твои шуточки! — накинулась княгиня на мужа. — Ты вечно... — начала она свою привычную нотацию.

Князь довольно долго слушал упреки княгини, молча, но лицо его мрачнело с каждой минутой.

— Ей так тяжело, бедняжке, так тяжело, а ты не понимаешь, как ей больно от любого намека на причину. Ах, как же я ошиблась в людях! — сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. — Я не понимаю, почему нет законов против таких мерзких, беспринципных типов.

— Ох, лучше бы не слушал! — мрачно проговорил князь, вставая с кресла и словно собираясь уйти, но остановившись в дверях. — Законы есть, матушка, и раз уж ты меня спровоцировала, я тебе скажу, кто во всем виноват: ты, и только ты. Законы против таких молодчиков всегда были и будут! Да-с, если бы не случилось того, чего не должно было случиться, я бы, старик, но вызвал бы его на дуэль, этого франта. Да, а теперь лечите ее, возите к себе этих знахарей.

Князь, казалось, хотел сказать еще многое, но как только княгиня услышала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных спорах, тут же смирилась и раскаялась.

— Александр, Александр, — шептала она, подходя к нему, и заплакала.

Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней.

— Ну, будет, будет! И тебе нелегко, я знаю. Что поделаешь? Беды большой нет. Бог милостив... благодари... — говорил он, уже сам не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты.

Едва Кити в слезах выбежала из комнаты, Долли, с ее материнским, семейным опытом, сразу поняла, что тут предстоит женское дело, и приготовилась его сделать. Она сняла платок

и, мысленно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападков матери на отца она пыталась сдерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала; ей было стыдно за мать и жаль отца за его быстро вернувшуюся доброту; но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно, — пойти к Кити и успокоить ее.

— Я давно хотела тебе сказать, мам: ты знаешь, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Степану.

— Ну и что? Я не понимаю...

— Может быть, Кити отказала ему?.. Она тебе не говорила?

— Нет, она ничего не говорила ни про того, ни про другого; она слишком гордая. Но я знаю, что все из-за этого...

— Да, представь себе, если она отказала Левину, — а она бы не отказала ему, если бы не было этого... И потом этот так ужасно ее обманул.

Княгине было слишком страшно думать, как сильно она виновата перед дочерью, и она рассердилась.

— Ах, я уже ничего не понимаю! Сейчас все хотят своим умом жить, матери ничего не говорят, а потом вот и...

— Мам, я пойду к ней.

— Иди. Разве я тебе запрещаю? — сказала мать.

Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, розовенькую комнатку с куколками, такую же юную, розовую и веселую, какой была сама Кити еще два месяца назад, Долли вспомнила, как они вместе в прошлом году обустроивали эту комнату, с каким весельем и любовью. У нее похолодело сердце, когда она увидела Кити, сидевшую на низеньком стуле у двери и устремившую неподвижный взгляд в угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, немного суровое выражение ее лица не изменилось.

Войдя в маленькую комнату Кити, такую уютную, в пастельных тонах, с этими милыми фарфоровыми фигурками на полках, — комнату, такую же юную и беззаботную, какой Кити была еще пару месяцев назад, — Долли невольно вспомнила, как они вместе обустроивали ее в прошлом году, с каким энтузиазмом и предвкушением. Сердце сжалось, когда она увидела Кити, сидящую на краешке дивана, с устремленным в одну точку взглядом. Кити подняла глаза на сестру, и холодное, отстраненное выражение ее лица не изменилось.

— Я сейчас уеду к себе в область, буду там сидеть, и тебе ко мне нельзя будет, — сказала Дарья Александровна, присаживаясь рядом. — Мне нужно с тобой поговорить.

— О чем? — встревоженно спросила Кити, вскинув голову.

— Ну, о чем же еще, как не о твоих переживаниях?

— У меня нет никаких переживаний.

— Ну, Кити, брось. Неужели ты думаешь, я не вижу? Я все понимаю. И поверь, это не так уж страшно... Все мы через это проходили.

Кити молчала, и лицо ее оставалось непроницаемым.

— Он не стоит того, чтобы ты из-за него страдала, — продолжала Дарья Александровна, переходя прямо к делу.

— Да, потому что я ему не нужна, — дрогнувшим голосом проговорила Кити. — Не говори! Пожалуйста, не говори об этом!

— Да кто тебе такое сказал? Никто этого не говорил. Я уверена, что он был в тебя влюблен и, возможно, до сих пор... Но...

— Ах, хуже всего эти утешения! — воскликнула Кити, вдруг вспыхнув. Она резко повернулась на диване, покраснела и начала нервно тереть в руках брелок от ключей, то сжимая его в кулаке, то разжимая. Долли знала эту привычку сестры — перебирать что-то в руках, когда

она волнуется; она знала, что Кити в порыве чувств может наговорить много лишнего и обидного, и Долли хотела ее успокоить, но было уже поздно.

– Что, что ты хочешь мне сказать? – выпалила Кити быстро. – Что я была влюблена в человека, которому я безразлична, и что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, которая думает, что... что... что она сочувствует!.. Не нужны мне эти сожаления и притворство!

– Кити, это несправедливо.

– Зачем ты меня мучаешь?

– Да я, наоборот... Я вижу, что ты расстроена...

Но Кити в своем возбуждении ее не слышала.

– Мне не о чем жалеть и не в чем нуждаться в утешении. У меня достаточно гордости, чтобы никогда не позволить себе любить человека, который меня не любит.

– Да я и не говорю... Просто скажи мне правду, – проговорила Дарья Александровна, взяв ее за руку, – скажи, Левин тебе что-нибудь говорил?..

Упоминание Левина, казалось, лишило Кити последних сил; она вскочила с дивана и, бросив брелок на пол, заговорила, размахивая руками.

– При чем тут еще Левин? Не понимаю, зачем тебе нужно меня мучить? Я сказала и повторяю: у меня есть гордость, и я никогда, никогда не сделаю того, что делаешь ты, – чтобы вернуться к человеку, который тебе изменил, который полюбил другую женщину. Я не понимаю, не понимаю этого! Ты можешь, а я не могу!

И, произнеся эти слова, она взглянула на сестру и, увидев, что Долли молчит, печально опустив голову, Кити, вместо того чтобы выбежать из комнаты, как собиралась, села у двери и, закрыв лицо руками, заплакала. Молчание длилось пару минут. Долли думала о себе. То унижение, которое она всегда чувствовала, особенно остро отозвалось в ней, когда о нем напомнила сестра. Она не ожидала такой жестокости от Кити и злилась на нее. Но вдруг она услышала шорох платья и сдавленные рыдания, и чьи-то руки обняли ее за шею. Кити стояла перед ней на коленях.

И, сказав это, она посмотрела на сестру и, увидев, что Долли молчит, грустно опустив голову, Кити, вместо того чтобы выйти из комнаты, села у двери и, закрыв лицо платком, опустила голову. Молчание длилось, наверное, пару минут. Долли думала о своем. Та униженность, которую она всегда чувствовала, особенно остро отозвалась в ней сейчас, когда о ней напомнила сестра. Она не ожидала такой жестокости от Кити и сердилась на нее. Но вдруг она услышала шорох платья и сдавленный звук рыданий, и чьи-то руки обняли ее за шею снизу. Кити стояла перед ней на коленях.

— Долька, мне так, так плохо! — виновато прошептала она.

И заплаканное, милое лицо спряталось в складках платья Дарьи Александровны.

Словно слезы были той необходимой смазкой, без которой не мог заработать механизм взаимопонимания между сестрами, – после слез они заговорили, пусть и не о том, что занимало их больше всего, но, говоря о постороннем, они все равно понимали друг друга. Кити поняла, что ее неосторожное слово о неверности мужа и об унижении глубоко ранило бедную сестру, но что та ее прощает. Долли, в свою очередь, поняла все, что хотела знать: ее догадки оказались верны, и горе, настоящее горе Кити заключалось в том, что Левин сделал ей предложение, а она отказала, Вронский же ее обманул, и теперь она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом прямо; она говорила только о своем душевном состоянии.

— У меня нет какого-то конкретного горя, — говорила она, немного успокоившись, — но ты можешь понять, что мне все стало противно, мерзко, грубо, и прежде всего я сама. Ты не представляешь, какие у меня отвратительные мысли обо всем.

— Да какие у тебя могут быть отвратительные мысли? — спросила Долли, слабо улыбаясь.

— Самые, самые мерзкие и грубые; не могу тебе сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Как будто все хорошее во мне спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну, как тебе объяснить? — продолжала она, видя недоумение в глазах сестры. — Папа сейчас начал говорить... мне кажется, он думает только о том, что мне нужно выйти замуж. Мама везет меня на какой-нибудь благотворительный вечер: мне кажется, что она только затем везет меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отделаться от этих мыслей. Женихов этих так называемых я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Раньше поехать куда-нибудь в вечернем платье для меня было просто удовольствием, я собой любовалась; теперь мне стыдно, неловко. Ну, что поделывать! Врачи... Ну...

Кити замаялась; она хотела сказать, что с тех пор, как с ней произошла эта перемена, Степан Аркадьевич стал ей невыносимо неприятен, и она не может видеть его без самых грубых и безобразных представлений.

— Ну да, все мне представляется в самом грубом, мерзком виде, — продолжала она. — Это моя болезнь. Может быть, это пройдет...

— А ты не думай об этом...

— Не могу. Только с детьми мне хорошо, только у тебя.

— Жаль, что ты не можешь бывать у меня чаще.

— Нет, я приеду. У меня была ветрянка, и я уговорю маму.

Кити настояла на своем и переехала к сестре. Вскоре в городе началась эпидемия гриппа, и она ухаживала за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых, но здоровье Кити не улучшилось, и в конце зимы Щербачки уехали на лечение в Европу.

IV.

Петербургская элита – это, по сути, один большой круг; все друг друга знают, ходят в гости. Но и в этом кругу есть свои подразделения. У Анны Аркадьевны Карениной были друзья и тесные связи в трех разных группах. Первая – служебная, официальная среда её мужа, состоящая из его коллег и подчиненных, самым причудливым образом связанных и разъединенных карьерными обстоятельствами. Анне теперь с трудом вспоминалось то почти религиозное уважение, которое она испытывала к этим людям поначалу. Теперь она знала их всех, как знают друг друга в провинциальном городке; знала, у кого какие привычки и слабости, у кого какие проблемы; знала их отношения друг к другу и к начальству, кто за кого держится, кто с кем в чем сходится и расходится. Но этот мир чиновничьих, мужских интересов никогда, несмотря на увещания Ирины Павловны, не мог её заинтересовать, и она старалась его избегать.

Второй, близкий Анне круг – тот, благодаря которому Алексей Александрович сделал карьеру. Центром этой группы была Ирина Павловна. Это был кружок пожилых, не очень привлекательных, добродетельных и набожных женщин и умных, образованных, честолюбивых мужчин. Один из этих мужчин называл его "совестью петербургского общества". Алексей Александрович очень ценил эту среду, и Анна, умевшая находить общий язык со всеми, поначалу нашла себе друзей и здесь. Но теперь, по возвращении из Москвы, этот круг стал ей невыносим. Ей казалось, что и она, и все они притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она старалась как можно реже бывать у Ирины Павловны.

Третий круг, где у неё были связи, – это, собственно, свет: вечеринки, приемы, модные наряды, мир, который одной рукой держится за власть, чтобы не опуститься до полусвета, который, как считали члены этого круга, они презирали, но вкусы у них были не только схожие, но и одинаковые. Связь с этим кругом поддерживалась через Ксению Тверскую, жену её двоюродного брата, у которой был очень высокий доход и которая с самого появления Анны в Петербурге особенно полюбила её, оказывала знаки внимания и втягивала в свой круг, посмеиваясь над кругом Ирины Павловны.

– Когда я стану старой и некрасивой, я стану такой же, – говорила Ксения, – но для тебя, молодой, красивой женщины, ещё рано в эту богадельню.

Анна поначалу избегала света Ксении Тверской, так как он требовал расходов, превышавших её возможности, да и по душе ей был первый круг; но после поездки в Москву всё изменилось. Она избегала своих "высоконравственных" друзей и ездила в свет. Там она встретила Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах. Особенно часто она видела Вронского у Ксении, которая была урожденной Вронской и приходилась ему родственницей. Вронский был везде, где только мог встретить Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она не давала ему никакого повода, но каждый раз, когда она встречалась с ним, в душе её вспыхивало то самое чувство оживления, которое охватило её в тот день в поезде, когда она впервые увидела его. Она чувствовала, что при виде его радость светится в её глазах и трогает её губы в улыбке, и она не могла скрыть это выражение радости.

Анна поначалу старалась избегать тусовки вокруг княгини Тверской, понимая, что это требует затрат, ей не по карману, да и по душе ей был более скромный круг. Но после поездки в Москву все изменилось. Она стала избегать своих прежних подруг и все чаще появлялась в высшем обществе. Там она встречала Вронского и каждый раз испытывала волнующее чувство радости. Особенно часто она видела его у Бетси, урожденной Вронской, его двоюродной сестры. Вронский был везде, где только мог встретить Анну, и при любой возможности говорил ей о своей любви. Она не давала ему никаких поводов, но каждый раз, когда она видела его, в душе её вспыхивало то самое чувство, которое она испытала в поезде, когда впервые его увидела. Она чувствовала, что при виде его радость светится в её глазах и трогает её губы улыбкой, и она не могла скрыть это выражение.

Поначалу Анна искренне верила, что недовольна его настойчивым вниманием. Но вскоре, вернувшись из Москвы и приехав на вечеринку, где она надеялась его увидеть, а его там не оказалось, она с грустью осознала, что обманывала себя. Что это внимание не только не неприятно ей, но и стало главным интересом в ее жизни.

Знаменитая певица пела во второй раз, и весь бомонд был в театре. Увидев из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не дожидаясь антракта, прошел к ней в ложу.

— Почему ты не приехал на ужин? — спросила она. — Удивляюсь этой интуиции влюбленных, — добавила она с улыбкой, так, чтобы слышал только он. — Она не была. Но приезжай после оперы.

Вронский вопросительно посмотрел на нее. Она слегка наклонила голову. Он улыбкой поблагодарил ее и сел рядом с ней.

— А как я вспоминаю твои насмешки! — продолжала княгиня Бетси, находившая особое удовольствие в наблюдении за развитием этой страсти. — Куда все делось? Ты попался, мой дорогой.

— Я только этого и хочу, чтобы попасться, — ответил Вронский со своей спокойной, добродушной улыбкой. — Если я и жалею, то только на то, что недостаточно попался, если честно. Я начинаю терять надежду.

— На что ты можешь надеяться? — спросила Бетси, слегка задетая за свою подругу. — Entendons nous...

Но в ее глазах плясали огоньки, говорящие, что она прекрасно понимает, на что он может надеяться, так же, как и он сам.

— Ни на что, — смеясь и демонстрируя свои ровные зубы, сказал Вронский. — Виноват, — добавил он, взяв из ее руки бинокль и принявшись разглядывать через ее обнаженное плечо противоположный ряд лож. — Боюсь, что становлюсь смешным.

Он прекрасно знал, что в глазах Бетси и всего светского общества он не рискует выглядеть смешным. Он знал, что в глазах этих людей роль несчастного влюбленного в свободную девушку может быть смешной, но роль человека, преследующего замужнюю женщину и во что бы то ни стало стремящегося вовлечь ее в измену, эта роль имеет что-то красивое, величе-

ственное и никогда не может быть смешной. Поэтому он с гордой и веселой улыбкой, игравшей под его усами, опустил бинокль и посмотрел на кухню.

— Так почему ты не приехал на ужин? — спросила она, любясь им.

— Это долгая история. Я был занят, и чем? Даю тебе сто к одному, тысячу к одному... не угадаешь. Я мирил мужа с обидчиком его жены. Да, правда!

— И помирил?

— Почти.

— Ты должен мне это рассказать, — сказала она, вставая. — Приходи в антракте.

— Не могу, я еду во Французский театр.

— Не могу, я в "Гоголь-центр" еду.

— На премьеру? — с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не отличила постановку Серебренникова от любого стендапа.

— Что поделаться? У меня там встреча, как раз по моему волонтерскому проекту.

— Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими, — сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. — Ладно, садись, рассказывай, что там у тебя?

И она снова села.

V.

— Это немного нескромно, но так забавно, что ужасно хочется рассказать, — сказал Бронский, глядя на нее смеющимися глазами. — Фамилии называть не буду.

— Но я буду угадывать, так интереснее.

— Слушай: едут два веселых молодых человека...

— Разумеется, контрактники из вашей части?

— Я не говорю контрактники, просто два похмельных молодых человека...

— Переводи: перебравшие.

— Возможно. Едут на шашлыки к сослуживцу, в самом приподнятом настроении. И видят, симпатичная девушка обгоняет их на такси, оглядывается и, им по крайней мере кажется, подмигивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Газуют вовсю. К их удивлению, красотка останавливается у подъезда того самого дома, где живет их сослуживец. Красотка забегает на последний этаж. Они видят только накрашенные губки из-под модной маски и изящные щиколотки.

— Ты с таким воодушевлением рассказываешь, что, мне кажется, ты сам один из этих двоих.

— А что ты мне только что говорила? Ну, молодые люди поднимаются к сослуживцу, у него проводы. Там уж точно они перебирают, как всегда на проводах. И за столом спрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает, и только курьер хозяина на их вопрос живут ли наверху девушки, отвечает, что там их много снимает квартиры. После проводов молодые люди идут в кабинет к хозяину и пишут сообщение неизвестной. Написали страстное сообщение, признание, и сами несут сообщение наверх, чтобы объяснить то, что в сообщении могло показаться не совсем понятным.

— Зачем ты мне такие глупости рассказываешь? Ну?

— Звонят в дверь. Выходит девушка, они передают сообщение и уверяют девушку, что оба так влюблены, что готовы умереть тут у двери. Девушка в недоумении пытается что-то сказать. Вдруг появляется мужчина с усами, как у кота, красный, как рак, заявляет, что в квартире никого не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих.

— Почему ты знаешь, что у него усы, как у кота?

— А вот слушай. Сегодня я ездил их мирить.

— Ну, и что?

— Тут-то самое интересное. Оказывается, это счастливая пара – мелкий чиновник из мэрии и его жена. Чиновник подает жалобу, и я становлюсь переговорщиком, и каким!... Уверяю тебя, Лавров – ничто по сравнению со мной.

— В чем же сложность?

— В чем же затык?

— Да вот послушай... Мы извинились как следует: «Мы в полном отчаянии, просим простить за это досадное недоразумение». Чиновник из районной администрации, этот Венден, вроде бы начинает оттаивать, но ему тоже надо высказаться. И как только он начинает говорить, сразу заводится, хамит. И опять мне приходится включать все свои дипломатические навыки. «Я понимаю, что поступок моих офицеров некрасив, но прошу учесть недоразумение, молодость, да и ребята только после плотного завтрака. Вы же понимаете. Они искренне рассказываются, просят прощения». Венден опять смягчается: «Я согласен, граф, и готов простить, но поймите, моя жена, честная женщина, подверглась преследованиям, оскорблениям от каких-то молокососов, мерз...» А этот молокосос тут же стоит, и мне надо их мирить. Опять я пускаю в ход дипломатию, и опять, как только дело подходит к концу, Венден заводится, краснеет, и опять я растекаюсь в дипломатических комплиментах.

— Ах, это надо тебе рассказать! — смеясь, обратилась Бетси к вошедшей в ее ложу даме. — Он меня так насмешил.

— Ну, *bonne chance*, — добавила она, подавая Вронскому палец, свободный от веера, и движением плеч опуская лиф платья, чтобы как следует обнажиться, когда выйдет к рампе, на свет софитов и на всеобщее обозрение.

Вронский поехал в театр, где ему действительно нужно было переговорить с замполитом, который не пропускал ни одного спектакля, чтобы обсудить свое миротворчество, занимавшее и забавлявшее его уже третий день. В этом деле были замешаны Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно прибывший, отличный парень, хороший товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были затронуты интересы части.

Оба служили в роте Вронского. К замполиту приехал чиновник из районной администрации, Венден, с жалобой на офицеров, оскорбивших его жену. Молодая жена, как рассказывал Венден (они поженились полгода назад), была в храме с матерью и, почувствовав себя плохо из-за своего положения, не смогла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся такси. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, почувствовав себя еще хуже, забежала домой. Венден, вернувшись с работы, услышал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидев пьяных офицеров с какой-то запиской, вытолкал их. Он просил строгого наказания.

— Нет, как хотите, — сказал замполит Вронскому, пригласив его к себе, — Петрицкий становится невыносимым. Не проходит и недели без истории. Этот чиновник не оставит дело, он пойдет дальше.

Вронский понимал всю неприглядность ситуации, что о дуэли не может быть и речи, и нужно сделать все, чтобы смягчить этого Вендена и замять дело. Замполит призвал Вронского, зная его как порядочного и умного человека, и, главное, как человека, дорожащего честью части. Они обсудили ситуацию и решили, что Петрицкий, Кедров и Вронский должны поехать к этому Вендену извиняться. Замполит и Вронский понимали, что имя Вронского и его должность должны способствовать смягчению чиновника. И действительно, эти два фактора оказались отчасти эффективными, но результат примирения оставался сомнительным, как и рассказывал Вронский.

Вронский понимал, что дело выглядит некрасиво, и до дуэли доводить нельзя, нужно как-то уладить конфликт с этим советником. Командир полка обратился к Вронскому, зная его как человека разумного, с хорошими связями и, главное, дорожащего репутацией части. Обсудили ситуацию и решили отправить Петрицкого, Кедрова и Вронского к этому чиновнику извиняться. Командир и Вронский надеялись, что имя Вронского и его должность сыграют

свою роль. И действительно, это помогло, но результат примирения оставался неясным, как Вронский и говорил.

Приехав в театр, Вронский отошел с командиром в фойе и рассказал о своих успехах и неудачах. Командир, подумав, решил замять дело, но потом, ради интереса, стал расспрашивать подробности встречи и долго смеялся, слушая, как успокоившийся было чиновник снова вспыхивал, вспоминая детали инцидента, и как Вронский, лавируя, отступал, подталкивая вперед Петрицкого.

— Да, история неприятная, но смешная. Не драться же Кедрову с этим типом! Так сильно возмущался? — смеясь, переспросил он. — А как тебе новая актриса? Просто огонь! — сказал он о французской звезде. — Сколько ни смотри, каждый раз что-то новое. Только французы так умеют.

VI.

Княгиня Бетси уехала из театра, не дождавшись конца спектакля. Едва успела войти в свою гримерку, припудрить лицо, стереть пудру, привести себя в порядок и заказать чай в гостиной, как к ее огромному дому на Большой Морской стали подъезжать машины. Гости выходили на широкое крыльцо, и охранник, читающий по утрам новости в Telegram-каналах, молча открывал дверь, пропуская прибывающих.

Почти одновременно вошли: хозяйка с посвежевшим лицом из одной двери и гости из другой – в большую гостиную с темными стенами, мягкими коврами и ярко освещенным столом, сверкавшим белизной скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного сервиза.

Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Незаметные официанты расставляли стулья, и гости разместились, разделившись на две группы: у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной – вокруг жены посла в черном бархатном платье и с темными бровями. Разговор в обоих кругах, как обычно вначале, был неустойчивым, прерываемый приветствиями, предложениями чая, словно искал, на чем остановиться.

— Она невероятно хороша как актриса; видно, что она изучала Тарковского, — говорил дипломат в кругу жены посла, — вы заметили, как она упала...

— Ой, пожалуйста, давайте не будем о ней! Про нее все уже сказано, — произнесла полная, румяная блондинка в старом шелковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своей прямоотой, грубостью и прозванная "enfant terrible".

Княгиня Мягкая сидела между двумя группами и, прислушиваясь, участвовала то в одном, то в другом разговоре. — Мне сегодня три человека сказали про Тарковского, как сговорились. И фраза, не знаю почему, так им понравилась.

— Ой, ну пожалуйста, только не про эту Нильсон! Про неё уже всё, что можно, сказали, — протянула полная, румяная дама с выцветшими волосами и без нарочитой причёски, в старомодном шёлковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своей прямоотой, даже грубостью, и заслужившая прозвище *enfant terrible*.

Княгиня Мягкая расположилась между двумя группами гостей и, прислушиваясь, вставляла реплики то в один, то в другой разговор. — Мне сегодня три человека повторили одну и ту же фразу про этого Каульбаха, как будто сговорились. И ведь фраза-то какая-то... не знаю, чем она им так понравилась.

Замечание прервало беседу, и нужно было срочно придумывать новую тему.

— Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое, — попросила жена посла, признанная мастерица светской беседы, обращаясь к дипломату, который тоже не знал, с чего начать.

— Говорят, это очень сложно, что смешное всегда злое, — с улыбкой ответил он. — Но я попробую. Дайте тему. Вся суть в теме. Если есть тема, то дальше уже легко импровизировать. Я часто думаю, что знаменитые острословы прошлого века сейчас бы растерялись. Всё умное так приелось...

— Это уже давно сказано, — перебила его жена посла, смеясь.

Разговор начался приятно, но именно из-за этой чрезмерной приятности он снова заглох. Пришлось прибегнуть к проверенному средству – злословию.

— Вам не кажется, что в Тушкевиче есть что-то от Людовика XV? — спросил он, кивнув в сторону красивого блондина, стоявшего у стола.

— О, да! Он в одном стиле с этой гостиниой, поэтому он здесь так часто и бывает.

Разговор оживился, потому что шёл намёками о том, о чём нельзя было говорить вслух в этом доме, а именно об отношениях Тушкевича с хозяйкой.

Тем временем у самовара и хозяйки разговор, поколебавшись между тремя неизбежными темами: последними новостями, театром и осуждением ближнего, тоже остановился на последней – на злословии.

— Вы слышали, Мальтищева – не дочь, а мать – шьёт себе костюм *diable rose*.

— Не может быть! Нет, это восхитительно!

— Я удивляюсь, как при её уме – ведь она не дура – она не видит, как смешно выглядит.

У каждого нашлось что сказать в осуждение и осмеяние несчастной Мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгорающийся костёр.

Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный коллекционер гравюр, узнав, что у жены гости, заглянул в гостиную перед тем, как ехать в клуб. Тихо, по мягкому ковру, он подошёл к княгине Мягкой.

— Ну, как вам Нильсон? — спросил он.

— Ах, можно ли так подкрадываться? Вы меня напугали, — ответила она. — Не говорите со мной про оперу, вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я опущусь до вашего уровня и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое сокровище вы недавно купили на барахолке?

— Хотите, я вам покажу? Но вы ничего в этом не понимаете.

— Покажите. Я научилась у этих... как их зовут... банкиров... у них прекрасные гравюры. Они нам показывали.

— Как, вы были у Шюцбургов? — спросила хозяйка от самовара.

— Были, *ma chère*. Они нас с мужем звали на ужин, и мне сказали, что соус на этом ужине стоил тысячу рублей, — громко говорила княгиня Мягкая, чувствуя, что все её слушают, — и соус был ужасный, что-то зелёное. Надо было их позвать к себе, и я сделала соус за восемьдесят пять копеек, и все были очень довольны. Я не умею делать соусы за тысячу рублей.

— Она неподражаема! — сказала хозяйка.

— Удивительна! — подхватил кто-то.

— Необычно! — заметил кто-то.

Эффект от речей Ирины Петровны Мягкой всегда был предсказуем. Секрет в том, что она говорила простые, понятные вещи, пусть и не всегда к месту, как сейчас. В этом кругу, где все привыкли к сложным конструкциям и недомолвкам, такая прямота воспринималась как остроумная шутка. Ирина Петровна не понимала, почему это так работает, но знала, что работает, и умело этим пользовалась.

Пока все слушали Ирину Петровну, разговор возле жены атташе затих. Хозяйка, желая объединить гостей, обратилась к ней:

— Вы точно не хотите чаю? Могли бы к нам присоединиться.

— Нет, нам и здесь прекрасно, — улыбнулась жена атташе и продолжила прерванный разговор.

Беседа шла оживленная. Обсуждали чету Карениных.

— Анна сильно изменилась после поездки в Москву. В ней появилось что-то странное, — говорила ее знакомая.

— Главное изменение в том, что она привезла с собой тень Алексея Вронского, — заметила жена атташе.

— Ну и что? У Гримма есть сказка: человек без тени – это проклятие. Я никогда не понимал, в чем наказание. Но женщине, наверное, неприятно быть без тени.

— Да, но женщины с тенью обычно плохо кончают, — сказала приятельница Анны.

— Тьфу на тебя, — вдруг выпалила Ирина Петровна, услышав эти слова. — Каренина – прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень даже.

— Почему же вы не любите Алексея Александровича? Он такой выдающийся человек, — удивилась жена атташе. — Муж говорит, что таких государственных деятелей мало во всей Европе.

— Мой муж говорит то же самое, но я не верю, — отрезала Ирина Петровна. — Если бы мужа нам не твердили, мы бы видели все как есть. Алексей Александрович, по-моему, просто дурак. Это я шепотом говорю... Разве не становится все сразу понятным? Раньше, когда мне твердили, что он умный, я все искала и находила, что это я сама дура, раз не вижу его гения. А как только я сказала: "Он дурак", но шепотом, – все сразу стало на свои места, правда?

— Какая вы сегодня злая!

— Нисколько. У меня просто нет другого выхода. Кто-то из нас двоих дурак. А про себя, как известно, такого никогда не скажешь.

— Никто не доволен своим достатком, но каждый доволен своим умом, — продекламировал дипломат французскую поговорку.

— Вот-вот, именно! — подхватила Ирина Петровна. — Но Анну я вам не отдам. Она такая чудесная, милая. Что ей делать, если все в нее влюблены и ходят за ней как тени?

— Да я и не собираюсь осуждать, — оправдывалась приятельница Анны.

— Если за нами никто не ходит как тень, это еще не значит, что мы имеем право осуждать других.

Отчитав приятельницу Анны, Ирина Петровна встала и вместе с женой атташе присоединилась к столу, где шел общий разговор о поставках дронов.

— О чем вы там судачили? — спросила Бетси.

— О Карениных. Ирина Петровна давала характеристику Алексею Александровичу, — ответила жена атташе, улыбаясь и присаживаясь к столу.

— Жаль, что мы не слышали, — сказала хозяйка, взглянув на входную дверь. — А, вот и вы наконец! — обратилась она с улыбкой к вошедшему Вронскому.

Вронский был не просто знаком со всеми присутствующими, он видел их каждый день. Поэтому он вошел с той непринужденностью, с какой входят в комнату к людям, от которых только что вышли.

Вронский не просто знал всех присутствующих, он ежедневно с ними виделся, поэтому вошел непринужденно, как в комнату к тем, с кем только что расстался.

— Где я был? — переспросил он жену посла. — Ладно, признаюсь. В "Геликоне". Кажется, в сотый раз, и все равно с удовольствием. Прелесть! Знаю, это моветон, но в опере я засыпаю, а в "Геликоне" до последнего аплодисмента сижу, и мне весело. Сегодня...

Он назвал имя модной певицы и хотел что-то рассказать о ней, но жена посла с притворным ужасом его прервала.

— Пожалуйста, не надо этих подробностей!

— Хорошо, не буду, тем более, все и так знают эти скандалы.

— И все бы туда ломанулись, если бы это было так же прилично, как опера, — подхватила княгиня Мягкая.

VII.

В прихожей послышались шаги, и княгиня Бетси, догадавшись, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел в сторону двери, и лицо его выражало что-то новое и странное.

Он радостно, пристально и вместе с тем робко смотрел на вошедшую и медленно поднялся. В гостиную вошла Анна. Как всегда, держась необыкновенно прямо, своей быстрой, твердой и легкой походкой, отличавшей ее от других светских дам, и не отводя взгляда, она сделала несколько шагов к хозяйке, пожала ей руку, улыбнулась и, с этой улыбкой, взглянула на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул.

Она ответила лишь наклоном головы, покраснела и нахмурилась. Но тут же, быстро кивая знакомым и пожимая протянутые руки, она обратилась к хозяйке.

— Я была у графини Лидии и хотела приехать раньше, но засиделась. У нее был отец Александр. Очень интересный человек.

— Ах, этот волонтер?

— Да, он рассказывал о гуманитарной помощи Донбассу, очень интересно.

Разговор, прерванный ее появлением, снова разгорелся, как пламя задуваемой свечи.

— Отец Александр! Да, отец Александр. Я его видела. Он хорошо говорит. Власьева совсем очарована им.

— А правда, что младшая Власьева выходит за Топова?

— Да, говорят, все решено.

— Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по любви.

— По любви? Какие у вас допотопные представления! Кто сейчас говорит о любви? — воскликнула жена посла.

— Что поделаешь? Эта глупая старая мода никак не выходит из употребления, — заметил Вронский.

— Тем хуже для тех, кто ей следует. Я знаю счастливые браки только по расчету.

— Да, но зато как часто счастье браков по расчету рассыпается в прах именно из-за того, что появляется та самая любовь, которую отрицали, — возразил Вронский.

— Но браками по расчету мы называем те, когда оба уже нагулялись. Это как ветрянка, нужно переболеть.

— Тогда нужно научиться искусственно прививать любовь, как оспу.

— Я в юности была влюблена в преподавателя ОБЖ, — сказала княгиня Мягкая. — Не знаю, помогло ли мне это.

— Нет, я думаю, если серьезно, чтобы узнать любовь, нужно ошибиться и потом исправить ошибку, — сказала княгиня Бетси.

— Даже после свадьбы? — шутливо спросила жена посла.

— Никогда не поздно покаяться, — произнес дипломат английскую поговорку.

— Вот именно, — подхватила Бетси, — нужно ошибиться и исправить. Что вы об этом думаете? — обратилась она к Анне, которая с едва заметной твердой улыбкой на губах молча слушала этот разговор.

— Я думаю, — сказала Анна, играя снятой перчаткой, — я думаю... сколько голов, столько умов, и сколько сердец, столько видов любви.

Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул с облегчением, словно избежав опасности, когда она произнесла эти слова.

Вронский смотрел на Анну, затаив дыхание, ожидая её слов. Когда она заговорила, он выдохнул, словно опасность миновала.

— А мне тут из Москвы написали, — вдруг сказала Анна. — Говорят, Китти Щербацкая совсем плоха.

— Неужели? — нахмурился Вронский.

Анна строго взглянула на него.

— Тебя это не волнует?

— Напротив, очень даже. Что именно пишут, если можно узнать? — спросил он.

Анна поднялась и направилась к Бетси.

— Дайте мне чашку чая, — сказала она, остановившись за её стулом.

Пока Бетси наливала чай, Вронский подошёл к Анне.

— Так что там пишут? — повторил он.

— Я часто думаю, что мужчины не понимают, что такое подлость, хотя постоянно о ней рассуждают, — сказала Анна, не отвечая ему. — Давно хотела тебе сказать, — добавила она и, пройдя несколько шагов, села у углового стола с альбомами.

— Не совсем понимаю, к чему ты клонишь, — сказал он, подавая ей чашку.

Она взглянула на диван рядом с собой, и он тут же сел.

— Да, я хотела сказать, — произнесла она, не глядя на него. — Ты поступил плохо, очень плохо.

— Разве я не знаю, что поступил плохо? Но кто причина того, что я так поступил?

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила она, строго глядя на него.

— Ты знаешь, зачем, — ответил он смело и радостно, встречая её взгляд и не отводя глаз.

Не он, а она смутилась.

— Это лишь доказывает, что у тебя нет сердца, — сказала она. Но взгляд её говорил, что она знает, что сердце у него есть, и именно этого она и боится.

— То, о чём ты сейчас говорила, было ошибкой, а не любовью.

— Ты помнишь, я запретила тебе произносить это слово, это мерзкое слово, — вздрогнув, сказала Анна. Но тут же она почувствовала, что одним этим "запретила" она признала за собой некие права на него и тем самым поощрила его говорить о любви. — Я давно хотела тебе это сказать, — продолжала она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая румянцем, обжигавшим её лицо, — а сегодня я специально приехала, зная, что встречу тебя. Я приехала сказать, что это должно закончиться. Я никогда ни перед кем не краснела, а ты заставляешь меня чувствовать себя виноватой в чём-то.

Он смотрел на неё и был поражён новой, духовной красотой её лица.

— Чего ты хочешь от меня? — спросил он просто и серьёзно.

— Я хочу, чтобы ты поехал в Москву и попросил прощения у Китти, — сказала она.

— Ты этого не хочешь, — сказал он.

Он видел, что она говорит то, что заставляет себя сказать, а не то, чего хочет на самом деле.

— Если ты любишь меня, как говоришь, — прошептала она, — то сделай так, чтобы я была спокойна.

Лицо его просияло.

— Разве ты не знаешь, что ты для меня вся жизнь? Но спокойствия я не знаю и не могу тебе дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о тебе и о себе отдельно. Ты и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для тебя. Я вижу возможность отчаяния, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно невозможно? — добавил он одними губами, но она услышала.

Она напрягла все силы ума, чтобы сказать то, что должна; но вместо этого она остановила на нём взгляд, полный любви, и ничего не ответила.

"Вот оно! — с восторгом подумал он. — Тогда, когда я уже отчаялся и когда, казалось, этому не будет конца, — вот оно! Она любит меня. Она признаётся в этом".

— Тогда сделай это для меня, никогда не говори мне этих слов, и будем просто друзьями, — сказала она словами. Но совсем другое говорил её взгляд.

— Тогда сделай это ради меня, никогда не говори этих слов, и мы останемся просто друзьями, — произнесла она, но взгляд говорил совсем другое.

— Друзьями мы не будем, ты сама это знаешь. А будем ли мы самыми счастливыми или самыми несчастными — это в твоей власти.

Она хотела что-то сказать, но он перебил:

– Я прошу лишь об одном – о праве надеяться, мучиться, как сейчас. Но если и это невозможно, скажи мне исчезнуть, и я исчезну. Ты не увидишь меня больше, если мое присутствие тебе тягостно.

– Я не хочу, чтобы ты уходил.

– Только ничего не меняй. Оставь все как есть, – произнес он дрожащим голосом. – Вот твой муж.

Действительно, в этот момент Алексей Александрович, со своей неторопливой, немного неуклюжей походкой, вошел в гостиную.

Окинув взглядом жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашку чая, заговорил своим размеренным, всегда отчетливым голосом, в привычном шутовском тоне, подтрунивая над кем-то.

– У вас тут прямо филиал "Рамштайна" в полном составе, – сказал он, оглядывая собравшихся, – все грации и музы.

Но княгиня Бетси терпеть не могла этого его тона, этой иронии, как она это называла, и, как опытная хозяйка, тут же перевела разговор на серьезную тему – о новой волне мобилизации. Алексей Александрович немедленно увлекся дискуссией и стал серьезно отстаивать необходимость указа перед княгиней Бетси, которая его критиковала.

Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького столика.

– Это становится неприлично, – прошептала одна дама, указывая взглядом на Каренину, Вронского и ее мужа.

– Что я тебе говорила? – ответила приятельница Анны.

Но не только эти дамы, почти все присутствующие, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, то и дело бросали взгляды на эту пару, отделившуюся от общего круга, как будто это им мешало. Только Алексей Александрович ни разу не посмотрел в их сторону и не отвлекался от интересного разговора.

Заметив общее неприятное впечатление, княгиня Бетси подсадила на свое место слушателя Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне.

– Я всегда восхищаюсь ясностью и точностью выражений вашего мужа, – сказала она. – Даже самые сложные вещи становятся понятными, когда он говорит.

– О, да! – ответила Анна, сияя улыбкой счастья и не вникая ни в одно слово из того, что говорила ей Бетси. Она подошла к большому столу и включилась в общий разговор.

Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил поехать домой вместе, но она, не глядя на него, ответила, что останется на ужин. Алексей Александрович раскланялся и ушел.

Старый, грузный татарин, водитель Карениной, в блестящей кожаной куртке, с трудом удерживал замерзшего левого коня, который вставал на дыбы у подъезда. Охранник стоял, открыв дверцу. Консьерж стоял, держа входную дверь. Анна Аркадьевна маленькой, быстрой рукой отцепляла кружево рукава от крючка шубы и, наклонив голову, с восхищением слушала, что говорил ей на прощание Вронский.

– Ты ничего не сказала. Допустим, я ничего и не требую, – говорил он, – но ты знаешь, что мне нужна не дружба. Мне возможно только одно счастье в жизни – это слово, которое ты так не любишь... да, любовь...

– Любовь... – повторила она медленно, внутренним голосом, и вдруг, в тот же момент, когда отцепила кружево, добавила: – Я потому и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, гораздо больше, чем ты можешь понять, – и она взглянула ему в лицо. – До свидания!

Она подала ему руку и быстрым, уверенным шагом прошла мимо консьержа и скрылась в машине.

Она протянула ему руку, и, чеканя шаг, словно на плацу, прошла мимо охранника в форме и скользнула в машину.

Ее взгляд, прикосновение опалили его. Он прикоснулся губами к ладони, к тому месту, где коснулась она, и поехал домой, окрыленный ощущением, что сегодня он продвинулся к своей цели дальше, чем за последние два месяца.

VIII.

Алексей Александрович не увидел ничего предосудительного в том, что его жена сидела за отдельным столиком с каким-то военным и оживленно беседовала; но он заметил, что для других в зале это выглядело... пикантно, и потому это показалось пикантным и ему. Он решил, что нужно поговорить с женой.

Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел в свой кабинет, как обычно, и уселся в кресло, раскрыв на закладке книгу по геополитике, и читал до часу ночи, как всегда; только изредка потирал высокий лоб и встряхивал головой, словно отгоняя навязчивые мысли. В обычное время он встал и совершил свой ночной ритуал. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он поднялся наверх; но сегодня, вместо привычных мыслей о служебных делах, его мысли были заняты женой и каким-то неприятным инцидентом, связанным с ней. Вопреки своей привычке, он не лег в постель, а, заложив руки за спину, принялся мерять шагами комнаты. Он не мог уснуть, чувствуя, что ему необходимо обдумать возникшую ситуацию.

Когда Алексей Александрович решил, что нужно поговорить с женой, ему казалось это простым делом; но теперь, когда он начал обдумывать этот разговор, он показался ему сложным и деликатным.

Алексей Александрович не был ревнив. Ревность, по его мнению, унижает жену, и к жене нужно относиться с доверием. Почему нужно доверять, то есть быть уверенным в том, что его молодая жена всегда будет его любить, он не задавался этим вопросом; но он не испытывал недоверия, поэтому доверял и говорил себе, что так и должно быть. Теперь же, хотя его убеждение в том, что ревность – постыдное чувство и что нужно доверять, не было поколеблено, он чувствовал, что столкнулся с чем-то нелогичным и бессмысленным, и не знал, что делать. Алексей Александрович столкнулся с жизнью, с возможностью любви его жены к кому-то другому, и это казалось ему бессмысленным и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю свою жизнь Алексей Александрович прожил и проработал в сферах государственных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самой жизнью, он отстранялся от нее. Сейчас он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидевший, что мост разобран и там – бездна. Бездна эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь, которой жил Алексей Александрович. Ему впервые пришли в голову мысли о возможности для его жены полюбить кого-то другого, и он ужаснулся этой мысли.

Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по гулкому паркету освещенной одной лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно написанном портрете его, висевшем над диваном, и через ее кабинет, где горели две свечи, освещая портреты ее родных и подруг и милые, давно знакомые ему безделушки на ее письменном столе. Через ее комнату он доходил до двери спальни и снова поворачивался.

Он, не раздеваясь, ходил туда-сюда по скрипучему паркету столовой, освещенной одной лампой, потом в полумрак гостиной, где свет едва касался большого, свежего портрета его над диваном, и далее – в кабинет, где мерцали две свечи, высвечивая портреты её родных и подруг, милые, давно знакомые вещицы на её столе. Дойдя до двери спальни, он разворачивался.

В каждой точке своего маршрута, особенно в светлой столовой, он останавливался и твердил: "Да, нужно это решить, прекратить. Высказать всё, как вижу, и принять решение". И тут

же поворачивал назад. "Но что именно высказать? Какое решение?" – спрашивал он себя в гостиной, не находя ответа. "В конце концов, – вопрошал он перед поворотом в кабинет, – что вообще случилось? Ничего особенного. Она долго говорила с ним. Ну и что? Мало ли с кем женщина может поговорить? Ревновать – значит унижать и себя, и её", – убеждал он себя, входя в кабинет. Но этот довод, прежде казавшийся таким весомым, теперь звучал пусто. И, от двери спальни, он снова шел в зал. Но, едва оказавшись в темной гостиной, какой-то внутренний голос шептал, что всё не так просто, что раз другие заметили, значит, что-то есть. И снова в столовой он повторял: "Да, нужно это решить, прекратить, высказать свою позицию..." И опять в гостиной, перед поворотом, спрашивал себя: как решить? А потом: что вообще произошло? И отвечал: ничего, напоминая себе, что ревность – чувство, унижающее жену. Но в гостиной его вновь одолевало ощущение, что что-то всё-таки случилось. Мысли его, как и тело, ходили по кругу, не находя выхода. Заметив это, он потёр лоб и опустился в кресло в её кабинете.

Тут, глядя на её стол с малахитовой пресс-папье и начатой запиской, его мысли внезапно изменили направление. Он стал думать о ней, о том, что она чувствует, что у неё на уме. Впервые он отчётливо представил себе её личную жизнь, её мысли, её желания. И мысль о том, что у неё может и должна быть своя, отдельная жизнь, показалась ему такой пугающей, что он поспешил её отогнать. Это была бездна, в которую ему было страшно заглянуть. Попытка перенестись мыслями и чувствами в другого человека была душевным усилием, чуждым Алексею Александровичу. Он считал это вредным и опасным фантазёрством.

"И хуже всего, – думал он, – что именно сейчас, когда подходит к концу мой проект (он имел в виду важную инициативу, которую он продвигал), когда мне необходимы спокойствие и все силы, на меня обрушивается эта бессмысленная тревога. Но что поделать? Я не из тех, кто прячется от проблем, кто не имеет смелости взглянуть им в лицо".

– Я должен всё обдумать, решить и отбросить, – произнёс он вслух.

"Вопросы о её чувствах, о том, что происходит и может происходить в её душе, – это не моё дело, это дело её совести, её личная ответственность перед Богом", – сказал он себе, почувствовав облегчение от осознания, что нашёл тот пункт законодательства, к которому относится возникшая ситуация.

"Итак, – заключил Алексей Александрович, – вопросы о её чувствах и тому подобное – это вопросы её совести, до которой мне нет дела. Моя же обязанность чётко определена. Как глава семьи, я обязан руководить ею и, следовательно, несу за неё частичную ответственность. Я должен указать на опасность, которую вижу, предостеречь и даже использовать свою власть. Я должен ей всё высказать".

— Итак, — сказал себе Алексей Александрович, — вопросы о её чувствах — это вопросы её совести, до которых мне дела нет. Моя обязанность ясна. Как глава семьи, я должен руководить ею и, отчасти, нести ответственность. Я должен указать на опасность, предостеречь и, если потребуется, проявить власть. Я должен высказаться.

В голове Алексея Александровича сложилось всё, что он скажет жене. Обдумывая речь, он пожалел, что тратит время и силы ума на домашние дела. Но, несмотря на это, в голове его сложилась чёткая последовательность речи, словно доклад. «Я должен сказать следующее: во-первых, объяснить значение общественного мнения и приличий; во-вторых, религиозное значение брака; в-третьих, указать на возможное несчастье для сына; в-четвертых, указать на её собственное несчастье». И, сложив пальцы в замок, ладонями вниз, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах.

Этот жест, дурная привычка — соединять руки и трещать пальцами — всегда успокаивал его и приводил в порядок, который сейчас был так нужен. У подъезда послышался звук подъехавшей машины. Алексей Александрович остановился посреди комнаты.

На лестнице послышались женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, сжимая скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли ещё где. Один сустав треснул.

По звуку лёгких шагов на лестнице он почувствовал её приближение, и, хотя он был доволен своей речью, ему стало страшно перед предстоящим разговором...

IX.

Анна шла, опустив голову и перебирая бахрому шарфа. Лицо её блестело, но блеск этот был не весёлый, а напоминал злое отблеск пожара в ночи. Увидев мужа, Анна подняла голову и, словно просыпаясь, улыбнулась.

— Ты не спишь? Вот чудо! — сказала она, скинула шарф и, не останавливаясь, пошла в ванную. — Пора, Алексей Александрович, — проговорила она из-за двери.

— Анна, мне нужно с тобой поговорить.

— Со мной? — удивлённо сказала она, вышла из ванной и посмотрела на него. — Что такое? О чём это? — спросила она, садясь. — Ну, давай поговорим, если так нужно. А лучше бы спать.

Анна говорила первое, что приходило в голову, и удивлялась своей способности лгать. Как просты и естественны были её слова, и как правдоподобно звучало её желание спать! Она чувствовала себя облачённой в броню лжи. Она чувствовала, что невидимая сила помогает и поддерживает её.

— Анна, я должен тебя предостеречь, — сказал он.

— Предостеречь? — сказала она. — От чего?

— Предостеречь? — переспросила она. — В чем именно?

Она смотрела так просто и беззаботно, что посторонний человек, не знавший её так, как муж, не заметил бы ни тени фальши в её голосе или словах. Но он-то знал её наизусть. Знал, что если он задержится на пять минут, она обязательно спросит, в чем дело. Знал, что она всегда делилась с ним своими радостями, печалью, всем, что у неё на душе. И теперь, видеть, как она избегает его взгляда, не хочет говорить о себе, значило очень многое. Он чувствовал, что глубина её души, всегда открытая для него, теперь закрыта на замок. И, судя по её тону, она даже не испытывала неловкости по этому поводу. Словно говорила: "Да, закрыта, и так будет впредь". Он ощутил себя человеком, вернувшимся домой и обнаружившим, что дверь заперта. "Но, может быть, ключ ещё найдется", — подумал Алексей Александрович.

— Я хочу предостеречь тебя, — тихо произнес он, — от того, что по неосторожности и легкомыслию ты можешь дать повод для пересудов. Твоё слишком оживленное общение сегодня с... с этим волонтером, Вронским (он произнес это имя твердо и спокойно), привлекло внимание.

Он говорил и смотрел в её смеющиеся глаза, которые теперь казались ему непроницаемыми и пугающими. И, говоря, чувствовал всю тщетность своих слов.

— Ты всегда так, — ответила она, словно совершенно не понимая его и намеренно выхватывая из его слов только последнее. — То тебе не нравится, что я скучная, то тебе не нравится, что я веселая. Мне было нескучно. Тебя это задевает?

Алексей Александрович вздрогнул и сжал руки, чтобы начать хрустеть пальцами.

— Ах, пожалуйста, не хрусти, я так не люблю, — сказала она.

— Анна, это ты? — тихо спросил Алексей Александрович, сделав над собой усилие и сдержав движение рук.

— Да что такое? — воскликнула она с искренним и комическим удивлением. — Что тебе от меня нужно?

Алексей Александрович помолчал, потер лоб и глаза. Он понял, что вместо того, чтобы предостеречь жену от ошибки в глазах общества, он невольно волнуется о её совести и борется с какой-то воображаемой стеной.

— Я вот что хочу сказать, — продолжил он холодно и спокойно, — и прошу тебя выслушать меня. Я считаю ревность чувством оскорбительным и унижительным и никогда не позволю себе руководствоваться им. Но существуют определенные правила приличия, которые нельзя

нарушать безнаказанно. Сегодня не только я заметил, но, судя по впечатлению, которое это произвело на окружающих, все заметили, что ты вела себя не совсем так, как следовало бы.

– Решительно ничего не понимаю, – пожала плечами Анна. "Ему все равно, – подумала она. – Но то, что заметили другие, его тревожит". – Ты нездоров, Алексей Александрович, – добавила она, встала и направилась к двери. Но он шагнул вперед, словно желая её остановить.

Его лицо было неприглядным и мрачным, каким Анна никогда его не видела. Она остановилась и, откинув голову набок, начала торопливо вытаскивать шпильки из волос.

– Ну-с, я слушаю, что дальше, – произнесла она спокойно и насмешливо. – И даже с интересом, потому что хотела бы понять, в чем дело.

Она говорила и удивлялась тому, насколько естественно-спокойным и уверенным был её тон, и тому, какие слова она выбирала.

Она говорила и удивлялась своему собственному тону – такому спокойному, уверенному, и тем словам, которые находила.

– Я не имею права лезть в дебри твоих чувств, да и не считаю это полезным, даже вредным, – начал Алексей Александрович. – Копаясь в себе, можно такого накопать, что лучше бы лежало себе тихо. Твои чувства – это твоя ответственность, но я обязан перед тобой, перед собой и... перед нашей семьей указать тебе на твои обязанности. Наша жизнь связана, и связана не просто так, а серьезно. Разорвать эту связь – это как совершить что-то ужасное, и за это придется дорого заплатить.

– Ничего не понимаю. Ох, Господи, как же мне спать хочется! – сказала она, торопливо ощупывая волосы в поисках выпавших заколок.

– Анна, прошу тебя, не говори так, – мягко сказал он. – Может, я и ошибаюсь, но поверь, я говорю это не только ради себя, но и ради тебя. Я твой муж, и я... ценю тебя.

На мгновение ее лицо помрачнело, насмешливая искра в глазах погасла, но слово "ценю" снова взбесило ее. "Ценю? – подумала она. – Да разве он может ценить? Если бы он не слышал, что так говорят, он бы и не произнес этого слова. Он даже не понимает, что это такое".

– Алексей Александрович, честно, я не понимаю, – сказала она. – Что именно тебя...

– Позволь мне договорить. Я ценю тебя. Но сейчас речь не обо мне, главное – наш сын и ты сама. Вполне возможно, повторяю, мои слова покажутся тебе лишними и неуместными, возможно, я просто заблуждаюсь. В таком случае, прошу прощения. Но если ты сама чувствуешь хоть малейшую причину для беспокойства, то я прошу тебя подумать и, если сердце подскажет, рассказать мне...

Алексей Александрович, сам того не замечая, говорил совсем не то, что планировал.

– Мне нечего сказать. Да и... – вдруг быстро сказала она, с трудом сдерживая улыбку, – правда, пора спать.

Алексей Александрович вздохнул и, ничего не сказав, пошел в спальню.

Когда она вошла, он уже лежал в постели. Губы его были плотно сжаты, и он не смотрел на нее. Анна легла на свою кровать и ждала, что он снова заговорит. Она и боялась этого, и хотела этого одновременно. Но он молчал. Она долго лежала неподвижно и забыла о нем. Она думала о другом, она видела его, и ее сердце наполнялось волнением и запретной радостью. Вдруг она услышала ровный и спокойный храп. В первую секунду Алексей Александрович будто испугался своего храпа и затих, но, переждав пару вдохов, храп возобновился с новой, спокойной уверенностью.

– Поздно, поздно, уже поздно, – прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, казалось, она видела даже в темноте.

Х.

С того самого вечера для Игоря Петровича и его жены началась совсем иная жизнь. Внешне ничего не изменилось. Марина, как и прежде, посещала светские мероприятия, особенно часто бывала у своей подруги Вероники, и, как назло, везде пересекалась с Кириллом.

Игорь Петрович, конечно, замечал это, но не знал, что предпринять. На все его попытки поговорить по душам она отвечала непроницаемой стеной какого-то нарочитого, даже вызывающего веселья. Внешне все оставалось как прежде, но их внутренние отношения словно надломились. Игорь Петрович, такой уверенный и влиятельный в своей работе, в этой ситуации чувствовал себя совершенно беспомощным. Как вол, покорно опустив голову, он ждал удара, который, как он чувствовал, уже занесен над ним. Каждый раз, когда он начинал думать об этом, он понимал, что нужно попытаться еще раз, что добротой, лаской, убеждением еще можно попытаться ее спасти, заставить одуматься, и каждый день он собирался с ней поговорить. Но каждый раз, когда он начинал говорить, он чувствовал, что тот дух неискренности и обмана, который, казалось, овладел ею, начинал овладевать и им самим, и он говорил совсем не то и совсем не тем тоном, каким хотел. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном снисходительной иронии над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне невозможно было сказать то, что действительно нужно было сказать.

XI.

То, что почти год для Кирилла было единственным желанием, затмившим все прежние цели и стремления; то, что для Марины было невозможной, пугающей и оттого еще более желанной мечтой о счастье, – это желание исполнилось. Бледный, с дрожащей челюстью, он стоял над ней и умолял ее успокоиться, сам не зная, как и чем ей помочь.

– Марина! Марина! – повторял он дрожащим голосом. – Марина, прошу тебя, ради всего святого...

Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, а теперь сломленную голову, и она вся сгибалась и сползала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если бы он не поддержал ее.

– Боже мой! Прости меня! – всхлипывая, говорила она, прижимая его руки к своей груди.

Она чувствовала себя такой виноватой и опозоренной, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме него, у нее никого не было, так что она и к нему обращала свои мольбы. Она, глядя на него, физически ощущала свое унижение и больше не могла произнести ни слова. Он же чувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя убийца, глядя на тело своей жертвы. Этим телом, лишенным жизни, была их любовь, первый, самый чистый период их отношений. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, какой страшной ценой стыда было заплачено за это. Стыд перед собственной духовной наготой давил ее и передавался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы перед телом убитого, нужно резать его на куски, прятать следы, нужно пользоваться тем, что убийца приобрел своим злодеянием.

Она чувствовала себя такой виноватой, словно совершила преступление. Оставалось только просить прощения, унижаться. Сейчас, кроме него, у неё никого не было, и мольба о прощении была обращена только к нему. Смотря на него, она физически ощущала своё унижение и не могла больше ничего сказать. А он чувствовал себя убийцей, смотрящим на тело, которое сам лишил жизни. Этим телом, лишенным жизни, была их любовь, первый период их отношений. Воспоминания о том, какой ценой стыда заплачено за это, были ужасны и отвратительны. Стыд перед своей духовной наготой давил на неё и передавался ему. Но, несмотря на ужас убийцы перед телом убитого, нужно разрезать его на куски, спрятать, использовать то, что убийца получил от убийства.

И с озлоблением, почти со страстью, убийца бросается на это тело, тащит, режет его. Так и он покрывал поцелуями её лицо и плечи. Она держала его руку и не двигалась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта рука, которая теперь всегда будет моей, — рука моего сообщника. Она подняла руку и поцеловала её. Он опустился на колени, хотел видеть её лицо, но она прятала его и молчала. Наконец, словно сделав над собой усилие, она поднялась и оттолкнула его. Лицо её было по-прежнему красиво, но от этого ещё более жалко.

— Всё кончено, — сказала она. — У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это.

— Я не могу не помнить того, что стало моей жизнью. За минуту этого счастья...

— Какое счастье! — с отвращением и ужасом сказала она, и её ужас невольно передался ему. — Ради Бога, ни слова, ни слова больше.

Она быстро встала и отошла от него.

— Ни слова больше, — повторила она и с выражением холодного отчаяния, странным для него, рассталась с ним. Она чувствовала, что сейчас не может выразить словами то чувство стыда, радости и ужаса перед вступлением в новую жизнь, не хотела говорить об этом, опошлять это чувство неточными словами. Но и потом, и на следующий, и на третий день она не только не нашла слов, чтобы выразить всю сложность этих чувств, но и не находила мыслей, чтобы обдумать всё, что творилось в её душе.

Она говорила себе: "Нет, сейчас я не могу об этом думать; потом, когда я успокоюсь". Но это спокойствие для мыслей никак не наступало. Каждый раз, когда ей приходила мысль о том, что она сделала, что с ней будет и что она должна сделать, её охватывал ужас, и она отгоняла эти мысли.

— Потом, потом, — говорила она, — когда я успокоюсь.

Зато во сне, когда она не владела своими мыслями, её положение представляло во всей безобразной наготе. Один и тот же сон почти каждую ночь посещал её. Ей снилось, что оба её мужа вместе, что оба осыпают её ласками. Алексей Александрович плакал, целуя её руки, и говорил: "Как хорошо теперь!" И Алексей Вронский был тут же, и он тоже был её мужем. И она, удивляясь тому, что прежде казалось ей невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но этот сон, как кошмар, давил на неё, и она просыпалась в ужасе.

XII.

Ещё после возвращения из Москвы, когда Лёвин вздрагивал и краснел, вспоминая отказ, он говорил себе: "Так же краснел, когда завалил сопромат в институте. Думал, жизнь кончена. Так же переживал, когда подвёл сестру с волонтерской помощью. И что? Время прошло, удивляюсь, как это меня волновало. Так и с этим будет. Забуду".

Но прошло три месяца, а он не забыл. Боль никуда не делась. Он, мечтавший о семье, чувствовавший себя готовым, всё ещё один, и женитьба дальше, чем когда-либо. Он чувствовал, как и все вокруг, что не дело в его годы одному. Помнил, как перед поездкой в Москву сказал своему механизатору Николаю, простому мужику, с которым любил поговорить: "Николай, думаю жениться". А Николай ответил, как о деле решённом: "Давно пора, Константин Дмитриевич". Но женитьба теперь казалась невозможной. Место занято. И когда он представлял на месте Кити кого-то из знакомых девушек, понимал, что это не то. К тому же, отказ и его роль в этом мучили стыдом. Сколько ни говорил себе, что не виноват, воспоминание, как и другие стыдные моменты, заставляло вздрагивать и краснеть. В прошлом были поступки, за которые должна мучить совесть, но они не терзали так, как эти мелочи. Эти раны не заживали. И теперь к ним добавился отказ и жалкое положение, в котором он предстал перед другими в тот вечер. Но время и работа делали своё. Тяжёлые воспоминания постепенно заслонялись событиями деревенской жизни. С каждой неделей он реже вспоминал о Кити. Ждал новостей о её свадьбе, надеясь, что это, как удаление зуба, вылечит его.

Прошло три месяца, но боль не утихла. Воспоминания о ней, как и в первые дни, терзали его. Он не мог успокоиться. Мечтал о семье, чувствовал себя готовым к этому шагу, но оставался один, и женитьба казалась дальше, чем когда-либо. Он остро ощущал, как и все вокруг, что в его возрасте одиночество – это неправильно. Помнил, как перед отъездом в Москву сказал своему механизатору Николаю, простому парню, с которым любил поговорить: «Вот, Николай, думаю жениться». И Николай ответил, как о деле, не вызывающем сомнений: «Давно пора, Константин Дмитриевич». Но теперь женитьба стала казаться нереальной. Место было занято,

и когда он представлял на этом месте кого-то из знакомых девушек, понимал, что это невозможно. К тому же, воспоминание об отказе и о той роли, которую он сыграл тогда, жгло его стыдом. Как бы он ни убеждал себя, что не виноват, это воспоминание, наряду с другими подобными, заставляло его вздрагивать и краснеть. В прошлом были поступки, за которые совесть должна была бы мучить его сильнее, но именно эти мелочные, стыдные воспоминания терзали его больше всего. Эти раны не заживали. И теперь к ним добавился отказ и то жалкое положение, в котором он предстал перед другими в тот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания постепенно заслонялись незаметными, но важными событиями деревенской жизни. С каждой неделей он все реже вспоминал о Кити. Ждал новостей о ее свадьбе, надеясь, что это известие, как удаление зуба, исцелит его.

Тем временем пришла весна – прекрасная, дружная, без обманчивых обещаний, одна из тех редких весен, которым радуются и растения, и животные, и люди. Эта весна еще больше воодушевила Левина и укрепила его в намерении отказаться от прошлого, чтобы построить свою одинокую жизнь твердо и независимо. Многие из планов, с которыми он вернулся в деревню, не были реализованы, но главное – чистота жизни – была соблюдена. Он не испытывал того стыда, который обычно мучил его после падений, и мог смело смотреть людям в глаза. Еще в феврале он получил письмо от Марии Николаевны о том, что здоровье брата Николая ухудшается, но он отказывается лечиться. Левин поехал в Москву, уговорил брата проконсультроваться с врачом и поехать на лечение за границу. Ему удалось убедить брата и дать ему денег в долг, не раздражая его, и этим он был доволен. Помимо хозяйства, требовавшего особого внимания весной, и чтения, Левин начал писать работу об экономике, в которой хотел показать, что характер рабочего следует рассматривать как данность, как климат и почву, и что все положения экономической науки должны выводиться не только из данных о почве и климате, но и из данных о характере рабочего. Так что, несмотря на уединение, его жизнь была чрезвычайно насыщенной, и лишь изредка он испытывал потребность поделиться своими мыслями с кем-нибудь, кроме Агафьи Михайловны, хотя и с ней он иногда рассуждал о физике, экономике и особенно о философии. Философия была любимым предметом Агафьи Михайловны.

Между тем, пришла весна – стремительная, настоящая, без этих обманчивых оттепелей, когда все радуются: и деревья, и звери, и люди. Эта весна только укрепила Левина в его желании начать жизнь заново, построить что-то прочное, свое. Пусть не все планы, с которыми он вернулся в деревню, удалось реализовать, но главное – он старался жить честно. Больше не было стыда, который преследовал его раньше, он мог смотреть людям в глаза. Еще в феврале пришло письмо от Марьи Николаевны: брату Николаю все хуже, но лечиться он не хочет. Левин поехал в Москву, уговорил брата сходить к врачу и поехать на воды за границу. Он сумел убедить его, не задев гордости, даже денег дал в долг на поездку. Этим он был доволен. Кроме хозяйства, которое весной требовало особого внимания, кроме чтения, Левин этой зимой начал писать статью об экономике. Его идея была в том, что характер работника нужно учитывать как данность, как климат или почву. И что все научные выводы в экономике должны исходить не только из свойств почвы и климата, но и из особенностей менталитета, характера людей, которые на этой земле работают. Так что, несмотря на уединение, или благодаря ему, жизнь его была полна. Только иногда накатывало желание поделиться мыслями, которые роились в голове, с кем-то, кроме Агафьи Михайловны. Хотя и с ней он иногда рассуждал о физике, экономике и особенно о философии – это был ее любимый предмет.

Весна задерживалась. Последние недели поста стояли ясные, морозные дни. Днем солнце пригревало, но ночью температура опускалась до минус семи; наст был такой, что можно было ездить на машинах прямо по полю. Пасху отмечали еще на снегу. А потом вдруг, на второй день праздника, подул теплый ветер, небо затянуло тучами, и три дня и три ночи лил теплый, сильный дождь. В четверг ветер стих, опустился густой серый туман, словно скрывая пере-

мены, происходящие в природе. В тумане вода прибывала, трещали и двигались льдины, мутные потоки неслись все быстрее, и прямо на Красную горку туман рассеялся, тучи разбежались, выглянуло солнце, и пришла настоящая весна. Утром яркое солнце быстро растопило тонкий лед, покрывавший лужи, и теплый воздух задрожал от испарений пробуждающейся земли. Зазеленела старая трава и пробивалась молодая, набухли почки на кустах смородины и калины, на березах появились липкие листочки, и над золотыми цветами ивы жужжали пчелы. В небе пели жаворонки, над полями плакали чибисы, высоко в небе летели журавли и гуси, перекликаясь весенними криками. На выгонах мычали коровы, облезлые после зимы, вокруг них прыгали ягнята, а по просыхающим тропинкам бегали босоногие дети. На пруду слышались веселые голоса женщин, стирающих белье, во дворах стучали топоры – мужики чинили технику к посевной. Пришла настоящая весна.

ХШ.

Лёвин натянул высокие берцы и впервые надел не бушлат, а армейскую куртку, и пошёл по хозяйству, перешагивая через ручьи, слепившие глаза блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь.

Весна – время планов и надежд. И, выйдя во двор, Лёвин, как дерево весной, ещё не знающее, куда и как разрастется его молодые побеги и ветви, заключённые в набухших почках, сам толком не знал, за какие проекты в любимом его хозяйстве он возьмётся сейчас, но чувствовал, что он полон планов и самых радужных ожиданий. Первым делом он пошёл к скотине. Коровы были выпущены на выгул и, сияя перелинявшей гладкой шерстью, греясь на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до мельчайших подробностей коровами, Лёвин велел выгнать их в поле, а на выгул выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-доярки, подбирая штаны, босыми, ещё белыми, незагоревшими ногами шлёпая по грязи, с прутьями бегали за мычавшими, обезумевшими от весенней радости телятами, загоняя их во двор.

Полюбовавшись на приплод этого года, который был необыкновенно хорош, – ранние телята были с мужицкую корову, Павина дочка, трёх месяцев, была ростом с годовалых, – Лёвин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решётки. Но оказалось, что сделанные с осени решётки, не использовавшиеся зимой на выгуле, были поломаны. Он послал за плотником, который по разнарядке должен был чинить молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены ещё с Масленицы. Это очень расстроило Лёвина. Расстраивало, что повторялась эта вечная неряшливость хозяйства, с которой он столько лет боролся всеми силами. Решётки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны на скорую руку, для телят. Кроме того, из этого же следовало, что бороны и все сельскохозяйственные орудия, которые велено было осмотреть и починить ещё зимой и для которых нарочно были наняты три плотника, не были починены, и бороны всё ещё чинили, когда нужно было срочно ехать боронить. Лёвин послал за управляющим, но тут же и сам пошёл искать его. Управляющий, сияя так же, как и всё в этот день, в обшитом овчиной полушубке шёл с гумна, ломая в руках соломинку.

– Почему плотник не на молотилке?

– Да я хотел вчера доложить: бороны починить надо. Ведь вот пахать.

– Да зимой-то что ж?

– Да вам на что угодно плотника?

– Где решётки с телячьего двора?

– Приказал снести на места. Что прикажете с этим народом! – сказал управляющий, махнув рукой.

– Не с этим народом, а с этим управляющим! – сказал Лёвин, вспыхнув. – Ну для чего я вас держу! – закричал он. Но вспомнив, что этим не поможешь, остановился на полуслове и только вздохнул. – Ну что, сеять можно? – спросил он, помолчав.

- Завтра или послезавтра можно будет за Туркиным.
- А клевер?
- Послал Василия с Мишкой, засевают. Не знаю только, пройдут ли: топко.
- На сколько гектаров?
- На шесть.
- Почему же не на все? – вскрикнул Лёвин.

То, что клевер сеяли только на шести, а не на двадцати гектарах, было ещё досаднее. Посев клевера, и по теории, и по его собственному опыту, бывал хорош только тогда, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И Лёвин никак не мог этого добиться.

- Людей нет. Что прикажете с этими людьми делать? Трое не вышли. Вот и Семён...
- Ну, вы бы отстранили от соломы.
- Да я и то отстранил.
- Где же люди?
- Где все?

— Пятеро компот делают, — это он про компост, — четверо зерно перебирают. Как бы не сопрело, Константин Дмитриевич.

Лёвин прекрасно знал, что "как бы не сопрело" означало, что посевной овес уже испортили. Опять не сделали, как он велел.

- Я еще весной говорил, трубы! — воскликнул он.
- Не волнуйтесь, все успеем.

Лёвин сердито махнул рукой, пошел к амбарам проверить овес и вернулся к конюшне. Овес пока не испортился. Но рабочие пересыпали его лопатами, хотя можно было сразу ссыпать в нижний амбар. Распорядившись насчет этого и выделив двух рабочих для посева клевера, Лёвин немного успокоился. Да и день был такой хороший, что сердиться не хотелось.

— Игнат! — крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца мыл машину. — Оседлай мне...

- Кого прикажете?
- Да хоть "Колпика".
- Слушаюсь.

Пока седлали лошадей, Лёвин снова подозвал приказчика, чтобы помириться с ним, и заговорил о предстоящих весенних работах и планах.

Вывоз навоза начать пораньше, чтобы до сенокоса все закончить. А дальше поле пахать плугами без перерыва, чтобы оставить под паром. Сенокос убрать не исполу, а своими работниками.

Приказчик слушал внимательно и старался одобрить предложения хозяина, но у него был такой знакомый Лёвину и всегда раздражающий его безнадежный вид. Вид этот говорил: все это хорошо, да как получится. Ничто так не огорчало Лёвина, как этот тон. Но такой тон был у всех приказчиков, сколько их у него ни было. У всех было такое отношение к его планам, и поэтому он уже не сердился, а огорчался и чувствовал себя еще более готовым к борьбе с этой стихийной силой, которую он иначе не мог назвать, как "как получится", и которая постоянно ему противостояла.

- Как успеем, Константин Дмитриевич, — сказал приказчик.
- Почему не успеете?

— Рабочих надо еще человек пятнадцать нанять. Вот не идут. Сегодня приходили, семьдесят тысяч просят за сезон.

Лёвин замолчал. Опять эта сила. Он знал, что сколько ни пытались, больше сорока человек нанять не удавалось за нормальную цену. Сорок нанимались, а больше нет. Но он все равно не мог не бороться.

- Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать.

— Послать-то пошлю, — уныло сказал Василий Федорович. — Да и техника изнашивается.

— Купим новую. Да я знаю, — добавил он смеясь, — вы все подешевле да похуже, но в этом году я вам не дам по-своему делать. Все буду сам контролировать.

— Да вы и так, кажется, мало спите. Нам спокойнее, когда хозяин рядом...

— Так клевер за Березовым Долом посеяли? Поеду посмотрю, — сказал он, садясь на небольшого буланого "Колпика", которого подвел кучер.

— Через ручей не проедете, Константин Дмитриевич, — крикнул кучер.

— Ну, тогда лесом.

И бодрой рысью доброй, отдохнувшей лошадки, фыркающей над лужами и просящей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота, в поле.

И рысцой, на доброй, застоявшейся кобылке, пофыркивающей над лужами и просящей повод, Левин выехал со двора в поле.

Если Левину было приятно на скотном дворе, то в поле стало еще лучше. Мерно покачиваясь в седле, вдыхая теплый, свежий запах земли, проезжая через рощицу по остаткам снега, он радовался каждому дереву, каждой набухшей почке. Когда он выехал из рощи, перед ним открылась огромная панорама: ровный, бархатный ковер зелени, без проплешин, лишь кое-где в низинах виднелись островки тающего снега. Его не рассердили ни лошадь с жеребенком, топтавшие посева (он велел прогнать их встретившемуся мужику), ни глуповатый ответ мужика Игната, которого он спросил: «Что, Игнат, скоро сеять?» — «Надо сначала вспахать, Константин Дмитриевич», — ответил Игнат. Чем дальше он ехал, тем веселее становилось, и хозяйственные планы рождались один лучше другого: обсадить поля ивами по южной стороне, чтобы снег не залеживался; разделить поля на шесть под навоз и три под травы, построить коровник в дальнем конце поля и выкопать пруд, а для удобрения сделать переносные загоны для скота. И тогда 300 гектаров пшеницы, 100 картофеля и 150 клевера, и ни одного истощенного гектара.

С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь по межам, чтобы не повредить посева, он подъехал к рабочим, сеявшим клевер. Телега с семенами стояла не на меже, а прямо на пашне, и озимые были изрыты колесами. Оба рабочих сидели на меже, видимо, курили одну сигарету на двоих. Земля в телеге, смешанная с семенами, была не размята, а слежалась комьями. Увидев хозяина, Василий пошел к телеге, а Мишка принялся сеять. Это было нехорошо, но Левин редко сердился на рабочих. Когда Василий подошел, Левин велел ему убрать телегу на межу.

— Да ладно, Константин Дмитриевич, примнётся, — ответил Василий.

— Пожалуйста, не спорь, — сказал Левин, — а делай, что говорят.

— Слушаюсь, — ответил Василий и взялся за уздечку. — А семена, Константин Дмитриевич, — сказал он заискивающе, — первый сорт! Только ходить тяжело, по килограмму грязи на каждом ботинке.

— А почему у вас земля не просеяна? — спросил Левин.

— Да мы разминаем, — ответил Василий, набирая семена и растирая землю в ладонях.

Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все равно было досадно.

Уже не раз испытав действенный способ заглушить досаду и все, что кажется плохим, обратить в хорошее, Левин и сейчас прибегнул к нему. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшие на сапоги, слез с лошади, взял у Василия сеялку и пошел сеять сам.

— Где ты остановился?

Василий указал на след от ноги, и Левин пошел, как умел, разбрасывать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя полосу, вспотел и, остановившись, отдал сеялку.

— Ну, барин, летом чур меня не ругать за эту полосу, — сказал Василий.

— А что? — весело сказал Левин, чувствуя, что средство подействовало.

— А что? — весело сказал Лёвин, чувствуя, как поднимается настроение.

— Да вот, на посевы посмотрите. Отлично вышло. Вы гляньте, где я весной сеял. Как все ровненько! Я, Константин Дмитриевич, как для родного отца стараюсь. Сам не люблю халтурить и другим не даю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь вон туда, — сказал Василий, указывая на поле, — душа радуется.

— Весна и правда хороша, Василий.

— Да уж такая весна, старики не припомнят. Я вот дома был, там у нас дед тоже пшеницы немного посеял. Говорит, от сорняков не отличишь.

— А вы давно пшеницу сеете?

— Да вы же меня научили позапрошлой весной; вы же мне семена дали. Часть продали, остальное посеяли.

— Ну, смотри, комья разбивай, — сказал Лёвин, подходя к лошади, — и за Мишкой следи. А если всходы хорошие будут, премию дам.

— Благодарим покорно. Мы вами и так довольны.

Лёвин сел на лошадь и поехал на поле, где в прошлом году клевер рос, и на то, которое под яровую пшеницу подготовили.

Клевер после уборки урожая отлично взошел. Он уже весь ожил и зеленел сквозь прошлогодние стебли пшеницы. Лошадь проваливалась по ступицу, и каждая нога ее хлюпала, вырываясь из оттаявшей земли. По пахоте и вовсе не проехать: держало только там, где ледок остался, а в оттаявших бороздах нога вязла выше ступицы. Пахота отличная; через пару дней можно бороновать и сеять. Всё прекрасно, всё радовало. Назад Лёвин поехал через ручей, надеясь, что вода спала. И правда, переехал и вспугнул двух уток. «Должны быть и вальдшнепы», подумал он и у поворота к дому встретил егеря, который подтвердил его предположение.

Лёвин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать и подготовить ружьё к вечеру.

XIV.

Подъезжая к дому в отличном настроении, Лёвин услышал звон колокольчика со стороны главных ворот.

«Да, это с вокзала», — подумал он, — как раз время прибытия электрички из Москвы... Кто бы это? Вдруг Николай? Он говорил: может, поеду на воды, а может, к тебе приеду». Ему стало немного тревожно, что приезд брата Николая нарушит его весеннее настроение. Но ему стало стыдно за это чувство, и он как бы раскрыл свои душевные объятия и с радостью ожидал брата. Он прищипорил лошадь и, выехав из-за акаций, увидел подъезжающую машину от вокзала и человека в куртке. Это не был брат. «Эх, если бы кто-нибудь приятный приехал, с кем можно поговорить», подумал он.

— А! — радостно закричал Лёвин, поднимая руки вверх. — Вот это гость! Как я рад тебе! — воскликнул он, узнав Степана Аркадьича.

«Узнаю, вышла она замуж или нет», подумал он.

И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминания о ней совсем не причиняют боли.

— Что, не ждал? — сказал Степан Аркадьич, вылезая из машины, с грязью на лице, но сияющий весельем и здоровьем. — Приехал тебя видеть — раз, — сказал он, обнимая и целуя его, — на охоту с тобой сходить — два, и землю продать — три.

— Отлично! А как весна? Как ты доехал?

— По бездорожью, Константин Дмитриевич, — ответил знакомый водитель.

— Ну, я очень, очень рад тебе, — искренне улыбаясь детской улыбкой, сказал Лёвин.

— Ну, я очень, очень рад тебе, — сказал Лёвин, искренне улыбаясь, как ребенок.

Лёвин проводил гостя в комнату для приезжих, куда уже внесли вещи Степана Аркадьича: рюкзак, чехол с ружьем, подсумок для сигар. Оставив его умываться и переодеться, Лёвин забежал в контору, дать указания по поводу пахоты и клевера. Агафья Михайловна, всегда переживавшая за честь дома, встретила его в прихожей вопросами об обеде.

— Как хотите, только побыстрее, — ответил он и пошел к приказчику.

Когда Лёвин вернулся, Степан Аркадьич, свежий, причесанный и сияющий улыбкой, выходил из комнаты. Вместе они поднялись наверх.

— Ну, как я рад, что добрался до тебя! Теперь я пойму, чем ты тут занимаешься. Право, завидую тебе. Какой дом, как тут славно! Светло, уютно, — говорил Степан Аркадьич, забывая, что не всегда бывает весна и солнечные дни, как сегодня. — И твоя Агафья Михайловна — просто прелесть! Конечно, симпатичная горничная в фартучке была бы уместнее, но для твоего аскетичного образа жизни — это идеально.

Степан Аркадьич рассказал много новостей, особенно интересной для Лёвина была новость о том, что его брат, Сергей Иванович, собирается приехать к нему в деревню этим летом.

О Китти и Щербацких Степан Аркадьич не сказал ни слова, лишь передал привет от жены. Лёвин был благодарен ему за деликатность и очень рад гостю. Как всегда, за время уединения у него накопилось множество мыслей и чувств, которыми он не мог поделиться с окружающими. Теперь он изливал Степану Аркадьичу и поэтическую радость весны, и неудачи, и планы хозяйства, и размышления о прочитанных книгах, и особенно идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам этого не замечал, составляла критика всех старых подходов к ведению хозяйства. Степан Аркадьич, всегда приятный и понимающий, в этот приезд был особенно мил, и Лёвин заметил в нем новую, польстившую ему черту — уважение и даже нежность.

Старания Агафьи Михайловны и повара сделать обед особенно хорошим привели лишь к тому, что оба проголодавшихся приятеля, набросившись на закуски, наелись хлеба с маслом, домашней колбасы и соленых грибов. Лёвин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел удивить гостя. Но Степан Аркадьич, привыкший к другой еде, все находил превосходным: и травяной чай, и хлеб, и масло, и колбасу, и грибы, и зеленые щи, и курицу в сливочном соусе, и крымское белое вино — все было чудесно.

— Отлично, отлично, — говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. — Я словно с поезда после шума и тряски попал на тихий берег. Так ты говоришь, что нужно изучать особенности работников и, исходя из этого, выбирать методы ведения хозяйства? Я в этом деле профан, но мне кажется, что теория и ее применение повлияют и на самих работников.

— Да, но погоди: я говорю не о политической экономии, а о науке ведения хозяйства. Она должна быть как естественные науки — наблюдать за происходящими явлениями, изучать работников с их экономическими, этнографическими...

В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем.

— Ну, Агафья Михайловна, — сказал ей Степан Аркадьич, целуя кончики своих пухлых пальцев, — какая у вас колбаса, какой травяной чай!... А что, Костя, не пора ли? — добавил он.

Лёвин взглянул в окно на солнце, садящееся за оголенные верхушки леса.

— Пора, пора, — сказал он. — Кузьма, запрягай машину! — и побежал вниз.

— Пора, пора, — сказал он. — Кузьма, готовь "Хайлюк"! — и побежал вниз по лестнице.

Спустившись, Степан Аркадьевич лично снял брезентовый чехол с кейса и, открыв его, принялся собирать свой дорожный, навороченный карабин. Кузьма, предвкушавший щедрые чаевые, не отходил от него, подавая то носки, то берцы, позволяя себя обхаживать.

— Костя, если приедет этот, из "Агро-Ресурса" — я его жду сегодня, — прими, подожди...

— Ты что, ему лес продаешь?

— Да. Ты его знаешь?

— Еще бы. Мы с ним "закрыли вопрос" по зерну.

Степан Аркадьевич усмехнулся. "Закрывать вопрос" было любимым выражением этого агрария.

– Да, он забавно выражается. Поняла, куда хозяин собрался! – добавил он, потрепав по холке Лайку, которая, повизгивая, крутилась у ног Левина, лизала то его руку, то берцы, то чехол карабина.

"Буханка" уже стояла у подъезда, когда они вышли.

– Я велел подать, хотя тут недалеко; может, пешком прогуляемся?

– Не, лучше поедем, – ответил Степан Аркадьевич, направляясь к машине. Усевшись, он укрыл ноги пледом из искусственного меха и закурил сигару. – Как ты не куришь! Сигара – это не просто удовольствие, это венец и символ удовольствия. Вот это жизнь! Как же я хочу так жить!

– Так кто тебе мешает? – улыбнулся Левин.

– Нет, ты счастливый человек. Все, что любишь, у тебя есть. Лошадей любишь – есть, собаки – есть, охота – есть, хозяйство – есть.

– Может, потому, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не горюю о том, чего нет, – ответил Левин, вспомнив о Кити.

Степан Аркадьевич понял его, взглянул, но промолчал.

Левин был благодарен Облонскому за то, что тот, с присущим ему тактом, заметив, что Левин избегает разговоров о Щербацких, не затрагивал эту тему; но теперь Левину самому хотелось узнать то, что его мучило, но он не решался заговорить.

– Ну, как твои дела? – спросил Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе.

Глаза Степана Аркадьевича весело блеснули.

– Ты же не понимаешь, как можно любить круассаны, когда есть армейский сухпай, – по-твоему, это преступление; а я не представляю жизни без любви, – ответил он, истолковав вопрос Левина по-своему. – Что поделаться, я так устроен. И, право, это так мало кому вредит, а мне столько удовольствия...

– Что, опять кто-то новенький? – поинтересовался Левин.

– Есть, брат! Знаешь, есть такой тип женщин, как из телеграм-каналов... женщин, которые сняты... Так вот, эти женщины встречаются и в реале... и они ужасны. Женщина, понимаешь, это такой объект, что, сколько ты ее ни изучай, всегда найдешь что-то новое.

– Так, может, лучше и не изучать?

– Нет. Один математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, а в ее поиске.

Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, он никак не мог понять чувства приятеля и прелесть изучения таких женщин.

XV.

Место пристрелки было недалеко, у речки, в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин вылез из машины и провел Облонского к краю полянки, уже оттаявшей от снега. Сам он вернулся к другой стороне, к раздвоенной березе, прислонил карабин к развилке сухого сучка, снял куртку, затянул ремень и проверил свободу движений.

Место для засидки выбрали недалеко от речки, в молодом осиннике. Подъехав на внедорожнике к лесу, Левин вышел и провёл Облонского к краю поросшей мхом полянки, где уже сошёл снег и пробивалась первая трава. Сам он вернулся к раскидистой берёзе, прислонил карабин к стволу, снял куртку, расстегнул пояс и размял плечи.

Старая Ласка, неотступно следовавшая за ними, уселась напротив него, настороженно прислушиваясь. Солнце клонилось к горизонту, и в лучах заката берёзки, разбросанные по осиннику, чётко выделялись своими тонкими ветвями с набухшими почками.

Из глубины леса, где ещё лежал снег, чуть слышно журчали ручейки. Мелкие птахи щебетали, перелетая с дерева на дерево.

В промежутках полной тишины слышалось шуршание прошлогодней листвы, шевелившейся от таяния земли и пробивающейся травы.

"Вот это да! Слышно и видно, как трава растёт!" – подумал Лёвин, заметив, как сдвинулся мокрый осиновый лист подле молодого ростка. Он стоял, слушал и смотрел то на влажную землю, поросшую мхом, то на настороженную Ласку, то на простирившееся перед ним море голых верхушек леса, то на затянутое белыми полосами облаков тускнеющее небо. Дрон-разведчик, неспешно махая винтами, пролетел высоко над лесом; другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы всё громче и суетливее щебетали в чаще. Недалеко ухнул филин, и Ласка, вздрогнув, осторожно переступила несколько шагов и, склонив голову набок, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопилась и сбилась.

– Ничего себе! Уже кукушка! – сказал Степан Аркадьич, выходя из-за куста.

– Да, я слышу, – ответил Лёвин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. – Скоро начнётся.

Фигура Степана Аркадьича снова скрылась за кустом, и Лёвин увидел только яркий огонёк зажигалки, сменившийся красным угольком сигареты и сизым дымком.

Щёлк! Щёлк! – щёлкнули предохранители карабина Степана Аркадьича.

– А это что за звук? – спросил Облонский, обращая внимание Лёвина на протяжное гуканье, похожее на тонкий голосок жеребёнка.

– А, это не знаешь? Это самец косули. Сейчас начнётся! Слушай, летит! – почти вскрикнул Лёвин, снимая карабин с предохранителя.

Послышался далёкий, тонкий свист и, ровно в тот знакомый охотнику такт, через две секунды – другой, третий, и за третьим свистом уже слышно стало характерное воркованье.

Лёвин окинул взглядом небо справа и слева, и вот перед ним на мутно-голубом фоне, над переплетающимися ветвями осин, показалась летящая птица. Она летела прямо на него: близкие звуки воркованья, похожие на равномерное трение плотной ткани, раздались над самым ухом; уже был виден длинный клюв и шея птицы, и в тот момент, когда Лёвин прицелился, из-за куста, где стоял Облонский, сверкнула красная вспышка. Птица, как подкошенная, камнем рухнула вниз и снова взмыла вверх. Снова сверкнула вспышка, и послышался удар; и, трепеща крыльями, словно пытаясь удержаться в воздухе, птица замерла на мгновение и тяжело шлёпнулась на землю.

– Неужели промах? – крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыма ничего не было видно.

— Неужели промазал? — крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыма ничего не было видно.

— Вот он! — сказал Левин, показывая на Ласку. Та, приподняв одно ухо и энергично помахивая кончиком пушистого хвоста, неспешной походкой, словно растягивая удовольствие и как бы улыбаясь, несла подстреленную птицу хозяину. — Ну, я рад, что тебе повезло, — сказал Левин, ощущая укол зависти оттого, что не ему достался этот вальдшнеп.

— Плохой выстрел из правого ствола, — ответил Степан Аркадьич, перезаряжая ружье. — Ш-ш... летит.

И вправду, послышались пронзительные, быстро следующие друг за другом свисты. Два вальдшнепа, играя и догоняя друг друга, издавая только свист, а не хрип, пронеслись прямо над головами охотников. Раздались четыре выстрела, и вальдшнепы, словно ласточки, резко развернулись и исчезли из виду.

Тяга была отличная. Степан Аркадьич подстрелил еще двух, и Левин двух, одного из которых не смог найти. Стало темнеть. Яркая, серебристая Венера низко на западе уже сияла из-за берез своим нежным светом, а высоко на востоке переливался красными огнями мрачный Арктур. Левин пытался разглядеть звезды Большой Медведицы над головой, то находя их,

то теряя. Вальдшнепы уже перестали летать, но Левин решил подождать еще, пока Венера, видимая им ниже ветки березы, не поднимется выше нее, и когда звезды Большой Медведицы станут отчетливо видны.

Венера уже поднялась выше ветки, ковш Большой Медведицы с его ручкой был полностью виден на темно-синем небе, но он все еще ждал.

— Может, пора? — спросил Степан Аркадьич.

В лесу было тихо, ни одна птица не шевелилась.

— Еще постоим, — ответил Левин.

— Как хочешь.

Они стояли теперь метрах в пятнадцати друг от друга.

— Стива! — неожиданно сказал Левин. — Что ж ты мне не рассказываешь, вышла твоя свояченица замуж или когда собирается?

Левин чувствовал себя настолько уверенным и спокойным, что, как ему казалось, никакой ответ не смог бы его взволновать. Но он никак не ожидал того, что услышал от Степана Аркадьича.

— И не думала, и не думает замуж, а она очень больна, и врачи отправили ее за границу. Даже опасаются за ее жизнь.

— Что ты! — воскликнул Левин. — Очень больна? Что с ней? Как она...

В этот момент Ласка, насторожив уши, посмотрела вверх в небо и укоризненно на них.

«Вот нашли время разговаривать, — словно думала она. — А он летит... Вот он, точно. Прозевают...»

Но в то же мгновение оба услышали резкий свист, который словно хлестнул их по ушам, и оба схватились за ружья, и две молнии сверкнули, и два выстрела прогремели одновременно. Высоко летевший вальдшнеп мгновенно сложил крылья и упал в чашу, пригибая тонкие ветки.

— Вот отлично! Общий! — воскликнул Левин и побежал с Лаской в чашу искать вальдшнепа. «Ах да, о чем это неприятном говорили? — вспомнил он. — Да, больна Кити... Ну что ж, очень жаль», — подумал он.

— А, нашла! Умница, — сказал он, вынимая из пасти Ласки теплую птицу и кладя ее в почти полный ягдташ. — Нашел, Стива! — крикнул он.

XVI.

Возвращаясь домой, Левин расспросил во всех подробностях о болезни Кити и планах Щербацких, и, хотя ему было бы стыдно в этом признаться, то, что он узнал, доставило ему удовольствие. Приятно и потому, что еще оставалась надежда, и еще приятнее оттого, что ей, той, которая причинила ему столько боли, сейчас плохо. Но когда Степан Аркадьич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его.

— Я не имею права знать семейные подробности, да и, честно говоря, не интересуюсь.

— Я, конечно, не имею права лезть в семейные дела, да и, честно говоря, особого интереса нет, — произнес Стива.

Степан Аркадьевич едва заметно улыбнулся, заметив, как мгновенно изменилось лицо Левина, став таким же мрачным, каким минуту назад было радостным.

— Ты уже закончил с этим Рябиным по поводу леса? — спросил Левин.

— Да, закончил. Цена отличная, три миллиона восемьсот тысяч. Восемьсот тысяч сразу, а остальное в рассрочку на шесть лет. Я долго с этим возился. Больше никто не давал.

— Это значит, ты отдал лес почти даром, — угрюмо сказал Левин.

— Почему же даром? — добродушно улыбнулся Стива, понимая, что сейчас Левин будет недоволен.

— Потому что лес стоит минимум пять тысяч за гектар, — ответил Левин.

— Ах, эти мне сельские жители! — шутливо воскликнул Степан Аркадьевич. — Этот ваш тон пренебрежения к нам, городским!... А как до дела доходит, так мы всегда лучше сделаем.

Поверь, я все просчитал, – заверил он, – лес продан очень выгодно, я даже боюсь, как бы он не отказался. Ведь это не строевой лес, – добавил Стива, желая убедить Левина в необоснованности его сомнений, – а в основном дрова. Там будет не больше тридцати кубов с гектара, а он мне дал по двести тысяч.

Левин презрительно усмехнулся. "Знаю я эту манеру, – подумал он, – не только у него, но и у всех городских, которые, побывав пару раз за десять лет в деревне и услышав пару деревенских словечек, употребляют их к месту и не к месту, уверенные, что все знают. "Строевой", "тридцать кубов". Говорит слова, а сам ничего не понимает".

– Я не буду тебя учить, что ты там пишешь в своей администрации, – сказал он, – а если понадобится, то спрошу совета. Но ты так уверен, что разбираешься в этой лесной грамоте. Она сложная. Ты деревья считал?

– Как считать деревья? – рассмеялся Степан Аркадьевич, все еще надеясь вывести приятеля из мрачного настроения. – Сосчитать пески, лучи планет, это мог бы ум высокий...

– Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один бизнесмен не купит, не считая, если ему не отдадут даром, как ты. Я твой лес знаю. Я там каждый год охочусь, и твой лес стоит пять тысяч за гектар чистыми, а он тебе дал две тысячи в рассрочку. Значит, ты ему подарил миллионов тридцать.

– Ну, хватит преувеличивать, – жалобно протянул Степан Аркадьевич, – почему же никто больше не давал?

– Потому что у него сговор с другими дельцами; он им откат дал. Я со всеми ними имел дело, я их знаю. Это не бизнесмены, а перекупщики. Он и не возьмется за дело, где ему светит десять-пятнадцать процентов, а ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль.

– Ну, все, хватит! Ты не в духе.

– Нисколько, – мрачно ответил Левин, когда они подъезжали к дому.

У подъезда уже стоял выдавший виды пикап, обтянутый защитной пленкой, с мощным кенгурятником и уставшей лошастью под капотом. За рулем сидел плотный, с красным лицом, водитель, работавший на Рябинина. Сам Рябинин уже был в доме и встретил приятелей в прихожей. Рябинин был высоким, худощавым мужчиной средних лет, с усами и бритым, выдающимся подбородком, и мутными, немного навывкате глазами. На нем был длинный синий бушлат с застежкой на молнии, и высокие, поношенные берцы, поверх которых были надеты резиновые галоши. Он тщательно вытер лицо платком и, запахнув бушлат, который и без того сидел плотно, с улыбкой поприветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьевичу руку, словно желая что-то поймать.

У подъезда уже ждала крепкая, обшитая железом и кожей "Газель" с сытым конём, запряжённым в широкие постромки. В кабине сидел плотный, румяный мужичок в камуфляже – водитель, по совместительству выполнявший поручения от Захарыча. Сам Захарыч уже был в доме и встретил гостей в прихожей. Высокий, жилистый мужчина средних лет, с аккуратными усами и бритым подбородком, Захарыч смотрел на мир мутноватыми, но цепкими глазами. На нём был длинный синий бушлат с кнопками и высокие, гармошкой на щиколотках, берцы, поверх которых надеты резиновые сапоги. Он тщательно вытер лицо платком и, запахнув бушлат, который и так сидел на нём ладно, приветливо улыбнулся вошедшим, протягивая Стёпе руку, словно желая что-то поймать.

– А вот и вы, – сказал Стёпа, пожимая руку. – Отлично.

– Не посмел ослушаться вашего звонка, хотя дорога – хуже некуда. Почти всю дорогу пешком шёл, но прибыл вовремя. Константин Дмитриевич, моё почтение, – обратился он к Лёвину, пытаясь поймать и его руку. Но Лёвин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его, и вынимал дичь из сумки. – Охотились, значит? Это что за птица такая? – добавил Захарыч, с сомнением глядя на трофеи. – Вкус, наверное, имеет... – И он неодобрительно покачал головой, словно сильно сомневался, стоит ли овчинка выделки.

– Хочешь в кабинет? – мрачно спросил Лёвин по-французски Стёпу. – Пройдём в кабинет, там и поговорим.

– Куда угодно, – с презрительным достоинством ответил Захарыч, словно давая понять, что для других могут быть сложности, как и с кем договориться, но для него никогда и ни в чём проблем не бывает.

Войдя в кабинет, Захарыч огляделся по привычке, словно ища икону, но, не найдя её, не перекрестился. Он осмотрел книжные шкафы и полки и с тем же сомнением, как и насчёт дичи, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, явно не допуская, чтобы это могло стоить потраченных денег.

– Ну что, деньги привёз? – спросил Облонский. – Садись.

– За деньгами дело не станет. Повидаться, переговорить приехал.

– О чём же переговорить? Да садись ты.

– Это можно, – сказал Захарыч, усаживаясь и с видимым усилием облокачиваясь на спинку кресла. – Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы, до копейки. За деньгами задержки не бывает.

Лёвин, ставивший ружьё в шкаф, уже выходил из комнаты, но, услышав слова Захарыча, остановился.

– И так даром лес берёте, – сказал он. – Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену накрутил.

Захарыч встал и молча, с улыбкой, посмотрел снизу вверх на Лёвина.

– Очень уж вы скупой, Константин Дмитриевич, – сказал он с улыбкой, обращаясь к Стёпе. – Совсем ничего не уступишь. Торговал зерном, хорошие деньги давал.

– Зачем мне вам своё даром отдавать? Я ведь не на земле нашёл и не украл.

– Помилуйте, в наше время воровать практически невозможно. Сейчас всё гласно, всё по закону, не то что воровать. Мы говорили по совести. Дорого просите за лес, концов не свести. Прошу уступить хоть немного.

– Да закончили вы дело или нет? Если закончили, нечего торговаться, а если нет, – сказал Лёвин, – я покупаю лес.

— Ну что, закончили сделку или нет? Если закончили, то нечего тут тянуть резину, а если нет, — сказал Лёвин, — то я покупаю лес.

Улыбка миглом слетела с лица Рябинина. Взгляд стал жестким, цепким, как у ястреба. Быстрыми, костлявыми пальцами он расстегнул куртку, показав рубаху навыпуск, медные пуговицы жилета и цепочку от часов, и ловко вытащил толстый, потертый бумажник.

— Бери, лес твой, — проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. — Вот как Рябинин торгует, не мелочится, — заговорил он, нахмурившись и потрясая бумажником.

— Я бы на твоём месте не спешил, — сказал Лёвин.

— Да что ты, — удивился Облонский, — я же слово дал.

Лёвин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с усмешкой покачал головой.

— Молодость, одна горячность. Ведь покупаю, честное слово, только чтобы показать, что Рябинин, а не кто другой, у Облонского рощу купил. А там, глядишь, как Бог даст, и выгоду найду. Верьте слову. Прошу, надо бумагу составить...

Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув куртку, с договором в кармане, уселся в свою выдавшую виды "Газель" и поехал домой.

— Ох, эти городские! — сказал он своему помощнику. — Все одним миром мазаны.

— Это точно, — ответил тот, передавая ему руль и застегивая брезентовый фартук. — А с покупкой, Михаил Игнатьевич?

— Ну, ну...

XVII.

Степан Аркадьевич, с оттопыренным карманом, где лежали купюры, которые купец выдал ему на три месяца вперед, поднялся наверх. С лесом вопрос был решен, деньги в кармане, настроение отличное, и Степану Аркадьевичу особенно хотелось развеять мрачное настроение, нашедшее на Лёвина. Ему хотелось закончить день за ужином так же приятно, как он начался.

Действительно, Лёвин был не в духе и, несмотря на все свое желание быть приветливым и любезным со своим дорогим гостем, не мог пересилить себя. Опынение от новости, что Кити не вышла замуж, постепенно проходило.

Кити не замужем и страдает, страдает от любви к человеку, который ее отверг. Это оскорбление словно падало и на него. Вронский отверг ее, а она отвергла его, Лёвина. Выходит, Вронский имел право презирать Лёвина и потому был его врагом. Но Лёвин не думал об этом прямо. Он смутно чувствовал, что в этом есть что-то оскорбительное для него, и злился теперь не на то, что его расстроило, а придирался ко всему, что попадалось под руку. Глупая продажа леса, обман, на который попался Облонский и который произошел у него в доме, раздражала его.

— Ну, закончил? — спросил он, встречая Степана Аркадьевича наверху. — Ужинать будешь?

— Да, не откажусь. Какой аппетит на природе, чудо. А что ж ты Рябинина не позвал поесть?

— Да пошел он!

— Ну ты и обходишься с ним! — сказал Облонский.

— Ты ему даже руки не подал. Почему не подать?

— Потому что я обслуживающему персоналу руки не подаю, а он в сто раз лучше.

— Ну ты и ретроград! А как же сближение слоев общества? — сказал Облонский.

— Кому нравится сближаться — пожалуйста, а мне противно.

— Да ты, я вижу, совсем от жизни отстал.

— Честно говоря, я никогда не задумывался, кто я. Я — Константин Лёвин, и больше ничего.

— И Константин Лёвин, который очень не в духе, — улыбаясь сказал Степан Аркадьевич.

— Да, я не в духе, и знаешь почему? Из-за, прости меня, твоей дурацкой продажи...

Степан Аркадьевич добродушно поморщился, как человек, которого незаслуженно обижают и расстраивают.

Степан Аркадьевич добродушно поморщился, словно его незаслуженно обижают и расстраивают.

— Ну, хватит, — сказал он. — Когда это бывало, чтобы кто-нибудь что-то продал, и ему тут же не сказали: "Это стоит гораздо дороже"? А пока продают, никто не предлагает... Нет, я вижу, у тебя зуб на этого несчастного Рябинина.

— Может, и есть. А знаешь, за что? Ты опять скажешь, что я ретроград или еще какое страшное слово, но мне все равно досадно и обидно видеть это повсеместное обнищание... ну, тех, кто раньше жил припеваючи. И обнищание не из-за роскоши — это бы ладно; пожить на широкую ногу — это в их духе. Сейчас местные скупают землю вокруг — я не против. Кто-то не работает, а кто-то пашет и вытесняет бездельника. Так и должно быть. И я рад за них. Но мне обидно смотреть на это обнищание из-за какой-то, не знаю, как назвать, наивности. Тут арендатор-кавказец купил за полцены у одной, которая живет в Дубае, прекрасное поместье. Тут сдают в аренду за копейки гектар земли, который стоит в десятки раз дороже. Тут ты просто так подарил этому проходимцу кучу денег.

— И что теперь, каждое дерево пересчитывать?

— Обязательно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будет на что жить и учиться, а у твоих, может, и нет!

— Ну, извини, но есть что-то мелочное в этом подсчете. У нас свои дела, у них свои, и им надо зарабатывать. Ну, впрочем, дело сделано, и конец. А вот и яичница-глазунья, моя любимая. И Агафья Михайловна даст нам этого травяного чая чудесного...

Степан Аркадьевич сел за стол и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда он давно не ел.

— Вот вы хоть похвалите, — сказала Агафья Михайловна, — а Константин Дмитриевич, что ему ни дай, хоть хлеба кусок, — поел и ушел.

Как ни старался Левин перебороть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было задать один вопрос Степану Аркадьевичу, но он не мог решиться и не находил ни подходящего момента, ни нужных слов. Степан Аркадьевич уже спустился к себе вниз, разделся, снова умылся, надел пижаму и лег, а Левин все медлил у него в комнате, говоря о всякой ерунде и не в силах спросить о том, что хотел.

— Как же все-таки делают мыло, — сказал он, рассматривая и разворачивая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но которым Облонский не пользовался. — Это же настоящее произведение искусства.

— Да, сейчас все усовершенствовано, — сказал Степан Аркадьевич, сладко и блаженно зевая. — Кино, например, и эти развлекательные... а-а-а! — зевнул он. — Электричество везде... а-а!

— Да, электричество, — сказал Левин. — Да. Слушай, а где сейчас этот... ну, из тех? — спросил он, вдруг отложив мыло.

— Кто? — сказал Степан Аркадьевич, перестав зевать. — А, этот... Он в Питере. Уехал вскоре после тебя и с тех пор ни разу не был в Москве. И знаешь, Костя, скажу тебе правду, — продолжал он, облокотившись на стол и подперев рукой свое красивое румяное лицо, из которого, как звезды, светились масляные, добрые и сонные глаза. — Ты сам был виноват. Испугался конкуренции. А я, как и тогда говорил, не знаю, у кого было больше шансов. Почему ты не пошел до конца? Я тебе тогда говорил, что... — Он зевнул одними челюстями, не открывая рта.

— Вронский? — протянул Стива, подавляя зевок. — Он в Питере. Сразу после твоего отъезда туда перебрался и с тех пор в Москве не появлялся. Слушай, Костя, скажу тебе честно, — он подался вперед, опираясь на стол и подперев щеку ладонью. Лицо у него было румяное, холеное, а глаза смотрели мягко и сонно. — Ты сам виноват. Испугался конкуренции. А я тебе тогда еще говорил, не знаю, у кого шансы были выше. Чего ты не проявил напористость? Я же тебе говорил... — Он зевнул, едва приоткрыв рот.

"Он знает или нет, что я делал предложение?" — подумал Левин, глядя на него. "Что-то хитрое, дипломатичное в его взгляде". И, почувствовав, как заливается краской, он молча уставился Стиве прямо в глаза.

— Если с ее стороны и было что-то, то это увлечение внешним лоском, — продолжал Облонский. — Этот, знаешь, безупречный аристократизм и перспективы в высшем обществе произвели впечатление скорее на мать, чем на нее саму.

Левин нахмурился. Обида от отказа, словно свежая рана, обожгла его сердце. Он был дома, а дома и стены помогают.

— Погоди, погоди, — перебил он Облонского. — Ты говоришь — аристократизм. А скажи мне, в чем этот аристократизм Вронского или кого бы то ни было заключается? Такой аристократизм, чтобы можно было меня им пренебречь? Ты считаешь Вронского аристократом, а я — нет. Человек, чей отец вылез из грязи благодаря связям, чья мать, Бог знает, с кем была в отношениях... Нет, извини, но я считаю аристократом себя и таких, как я, кто может проследить три-четыре поколения честных семей, занимавших достойное положение в обществе, получивших хорошее образование (талант и ум — это другое дело), и кто никогда ни перед кем не пресмыкался, никогда ни в ком не нуждался, как жили мой отец, мой дед. И я знаю

таких много. Тебе кажется мелочным, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь свою выгоду, а я – нет, поэтому я дорожу своим наследством и своим трудом... Мы – аристократы, а не те, кто существует только за счет подачек от власть имущих и кого можно купить за копейку.

— Да кто спорит? Я с тобой согласен, — искренне и весело ответил Стива, хотя и почувствовал, что Левин, говоря о тех, кого можно купить за копейку, намекает и на него. Живость Левина ему искренне нравилась. — Да кто спорит? Хотя многое из того, что ты говоришь о Вронском, неправда, но я не об этом. Я тебе прямо говорю: на твоём месте я бы поехал со мной в Москву и...

— Нет, я не знаю, знаешь ты или нет, но мне все равно. И я скажу тебе: я сделал предложение и получил отказ, и Катерина Александровна для меня теперь – тяжелое и постыдное воспоминание.

— Да ну, брось!

— Но не будем об этом. Прости меня, пожалуйста, если я был с тобой груб, — сказал Левин. Теперь, высказав все, он снова стал таким, каким был утром. — Ты не сердись на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, — сказал он, улыбаясь и беря его за руку.

— Да нет, нисколько, и не за что. Я рад, что мы поговорили. А знаешь, утренняя охота бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с охоты на вокзал.

— Отлично.

XVIII.

Несмотря на всепоглощающую страсть, внутренняя жизнь Вронского, казалось, не влияла на внешнюю. Он продолжал двигаться по привычным рельсам: служба, светские связи, полковые дела. Последние занимали важное место в его жизни. Он любил свой полк, но еще больше его любили там. Вронского уважали, им гордились. Человек богатый, образованный, с большими возможностями, мог сделать блестящую карьеру, но он пренебрегал всем этим, ставя интересы полка и товарищества превыше всего. Вронский знал, что так к нему относятся, и чувствовал себя обязанным поддерживать этот имидж.

Разумеется, о своей любви он ни с кем не говорил. Даже в самых шумных компаниях (впрочем, он никогда не напивался до потери контроля) он не проронил ни слова. И пресекал любые намеки легкомысленных товарищей. Хотя о его связи знали все в городе – более или менее догадывались о его отношениях с Анной, – многие молодые люди завидовали ему именно в том, что было самым сложным в его любви: в высоком положении ее мужа и, следовательно, в публичности этой связи.

Большинство молодых женщин, которым уже давно наскучило то, что Анну называли "правильной", злорадствовали. Они ждали лишь подтверждения перемены общественного мнения, чтобы обрушить на нее всю тяжесть своего презрения. Они уже готовили комья грязи, которыми собирались ее забросать. Большинство пожилых и высокопоставленных людей были недовольны назревающим скандалом.

Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна. По ее мнению, ничто так не красит молодого человека, как связь в высшем обществе. К тому же, Каренина, которая ей так понравилась и так много говорила о ее сыне, была, в конце концов, такой же, как и все красивые и порядочные женщины. Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенной ему важной должности, чтобы остаться в полку и видеться с Карениной. Узнала, что из-за этого им недовольны влиятельные люди. И ее мнение изменилось. Ей также не нравилось, что, судя по всему, это не была блестящая светская интрижка, а какая-то вертеровская, отчаянная страсть, которая могла толкнуть его на глупости. Она не видела его с момента его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего сына требовала, чтобы он приехал к ней.

Старший брат тоже был недоволен младшим. Он не разбирался, большая это любовь или маленькая, страстная или нет, порочная или непорочная (сам он, имея детей, содержал

танцовщицу и был снисходителен к подобным вещам). Но он знал, что эта любовь не нравится тем, кому нужно нравиться, и поэтому не одобрял поведения брата.

Помимо службы и светских мероприятий, у Вронского было еще одно увлечение – лошади. Он был страстным любителем конного спорта.

Кроме службы и светской жизни, у Вронского было еще одно увлечение – лошади. Он обожал их.

В этом году в Красной Поляне должны были пройти офицерские скачки с препятствиями. Вронский записался, купил английскую чистокровную кобылу и, несмотря на свою любовь к Анне, был страстно, хотя и сдержанно, увлечен предстоящими соревнованиями.

Эти две страсти не мешали друг другу. Наоборот, ему нужно было занятие, отвлекающее от любовных переживаний, что-то, где он мог бы освежиться и отдохнуть от слишком сильных эмоций.

XIX.

В день скачек Вронский пришел в общую столовую полка раньше обычного, чтобы съесть бифштекс. Ему не нужно было строго следить за весом, так как он и так соответствовал положенным семидесяти килограммам, но и набирать не стоило, поэтому он избегал мучного и сладкого. Он сидел в расстегнутой куртке поверх белой футболки, облокотившись на стол и, ожидая заказанный бифштекс, смотрел в экран телефона, где был открыт французский роман. Читал он только для того, чтобы не разговаривать с входящими и выходящими офицерами, а на самом деле думал о другом.

Он думал о том, что Анна обещала встретиться с ним сегодня после скачек. Но он не видел ее три дня, и из-за возвращения мужа из-за границы не знал, возможно ли это вообще, и как это узнать. Последний раз они виделись на даче у кузины Бетси. К Карениным он старался ездить как можно реже. Сейчас он хотел поехать туда и обдумывал, как это сделать.

"Конечно, я скажу, что Бетси прислала узнать, приедет ли она на скачки. Обязательно поеду", – решил он, поднимая голову от телефона. И, представив себе счастье увидеть ее, он просиял.

– Пошли к моей машине, чтобы завели побыстрее, – сказал он официанту, подававшему ему бифштекс на горячей тарелке, и, придвинув ее к себе, стал есть.

Из соседней комнаты доносились звуки игры в бильярд, разговоры и смех. Из коридора вошли два офицера: один молодой, с худым лицом, недавно прибывший из училища; другой – полный, пожилой офицер с браслетом на руке и маленькими заплывшими глазами.

Вронский взглянул на них, нахмурился и, словно не заметив, уткнулся обратно в телефон, продолжая есть и читать.

– Что, подкрепляешься перед работой? – спросил полный офицер, садясь рядом с ним.

– Видишь, – ответил Вронский, хмурясь, вытирая рот и не глядя на него.

– А не боишься поправиться? – сказал тот, поворачивая стул для молодого офицера.

– Что? – сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои ровные зубы.

– Не боишься поправиться?

– Официант, мне колу! – сказал Вронский, не отвечая, и, переложив телефон на другую сторону, продолжил читать.

Полный офицер взял меню и обратился к молодому.

– Выбирай, что будем пить, – сказал он, подавая ему меню и глядя на него.

– Пожалуй, лимонад, – сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и пытаясь поймать пальцами едва отросшие усики. Видя, что Вронский не обращает внимания, молодой офицер встал.

– Пойдем в бильярдную, – сказал он.

Полный офицер послушно встал, и они направились к двери.

В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, презрительно кивнув двум офицерам, подошел к Вронскому.

— А, вот он! — крикнул он, крепко хлопнув его своей большой рукой по плечу. Вронский оглянулся сердито, но тут же лицо его смягчилось, приняв свойственное ему спокойное и твердое выражение.

— А! Вот он! — крикнул ротмистр, хлопнув Вронского своей широкой ладонью по плечу. Вронский обернулся было с раздражением, но тут же лицо его смягчилось, озарившись привычной спокойной и уверенной улыбкой.

— Молодец, Алеша, — пробасил ротмистр. — Теперь поешь нормально и выпей стопку.

— Да не хочется что-то.

— Вот не разлей вода, — съязвил Яшвин, глядя на двух офицеров, выходящих из комнаты. Он присел рядом с Вронским, складывая свои длинные ноги в узких тактических штанах под неудобным углом. — Чего вчера в "Красный" не заехал? Там эта, Нумерова, ничего так была. Где пропал?

— У Тверских засиделся, — ответил Вронский.

— А-а, — протянул Яшвин.

Яшвин, игрок, гуляка, человек не просто без правил, а с собственным кодексом, где мораль занимала последнее место, был лучшим другом Вронского в части. Вронский ценил его за невероятную физическую выносливость – тот мог пить как не в себя, не спать сутками и оставаться в форме, – и за внутреннюю силу, которую он проявлял в отношениях с начальством и сослуживцами, вызывая у одних страх, у других – уважение. И в игре, где ставки доходили до сотен тысяч, он всегда, даже будучи пьяным, сохранял холодную голову и твердую руку, за что его считали одним из лучших игроков в Москве. Но больше всего Вронский уважал и любил его за то, что чувствовал: Яшвин ценит его не за фамилию и деньги, а за него самого. И именно с ним одним Вронский хотел бы поговорить о своей любви. Ему казалось, что Яшвин, несмотря на свой показной цинизм и пренебрежение к чувствам, единственный способен понять ту всепоглощающую страсть, которая сейчас заполняла всю его жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин не станет распускать сплетни и перемывать кости, а воспримет это чувство серьезно, поймет, что это не мимолетное увлечение, а нечто большее.

Вронский не говорил с ним напрямую о своей любви, но знал, что Яшвин все понимает, и ему было приятно видеть это в его глазах.

— А, да! — сказал он, услышав про Тверских, и, сверкнув черными глазами, потянул левый ус в рот – дурная привычка.

— Ну, а ты вчера как? Выиграл? — спросил Вронский.

— Восемь штук. Но три под вопросом, вряд ли отдаст.

— Ну, так можешь за меня и проиграть, — усмехнулся Вронский. (Яшвин держал крупную ставку за Вронского.)

— Ни за что не проиграю. Один Махотин опасен.

Разговор перешел к завтрашним скачкам, о которых Вронский сейчас только и думал.

— Пойдем, я закончил, — сказал Вронский, вставая и направляясь к двери. Яшвин тоже поднялся, потягиваясь во весь свой немалый рост.

— Мне еще рано обедать, а выпить надо. Сейчас подойду. Эй, вина! — заорал он своим знаменитым командирским басом, от которого звенели стекла. — Нет, не надо, — тут же передумал он. — Ты домой, так я с тобой пойду.

И они вышли вместе с Вронским.

XX.

Вронский стоял в просторной и чистой избе, перегороденной надвое. Петрицкий жил с ним вместе и на полигоне. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу.

— Подъем, хватит дрыхнуть, — сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо взлохмаченного Петрицкого, уткнувшегося носом в подушку.

Петрицкий резко вскочил на колени и огляделся.

Петрицкий вдруг подскочил на кровати и огляделся.

— Твой брат здесь был, — сказал он Вронскому. — Разбудил, черт возьми, сказал, что еще зайдет. — И снова, натягивая одеяло, рухнул на подушку. — Да ладно тебе, Яшвин, — ворчал он, отбиваясь от Яшвина, который пытался стащить с него одеяло. — Отстань! — Он повернулся и открыл глаза. — Лучше скажи, что выпить? Такая гадость во рту, что...

— Водка самое то, — пробасил Яшвин. — Терещенко! Водки барину и огурцов, — заорал он, явно наслаждаясь своим голосом.

— Водки, думаешь? А? — переспросил Петрицкий, морщась и потирая голову. — А ты выпьешь? Вместе, тогда выпьем! Вронский, ты с нами? — спросил Петрицкий, вставая и кутаясь в тигровое одеяло.

Он вышел в коридор, поднял руки и запел по-французски: «Жил да был король в Ту-у-ле». — Вронский, выпьешь?

— Отвали, — ответил Вронский, надевая пиджак, который подавал денщик.

— Это куда? — спросил Яшвин. — Вон и машина подъехала, — добавил он, увидев у подъезда черный внедорожник.

— В автосервис, да еще нужно к Брянскому по поводу запчастей, — сказал Вронский.

Вронский действительно обещал заехать к Брянскому, который жил в десяти километрах от элитного поселка, и отдать ему деньги за детали; он хотел успеть сделать оба дела. Но друзья сразу поняли, что он едет не только туда.

Петрицкий, продолжая напевать, подмигнул и надул губы, как бы говоря: знаем мы, что это за запчасти.

— Смотри не опоздай, — только и сказал Яшвин и, чтобы сменить тему, спросил: — Как мой "Соболь", нормально бегают? — Он посмотрел в окно на микроавтобус, который когда-то продал Вронскому.

— Стой! — крикнул Петрицкий уже уходящему Вронскому. — Брат твой оставил тебе письмо и записку. Погоди, где они?

Вронский остановился.

— Ну, где же они?

— Где они? Вот в чем вопрос! — торжественно произнес Петрицкий, водя указательным пальцем вверх от носа.

— Да говори уже, это глупо! — улыбаясь, сказал Вронский.

— Я тут не убирался. Где-то здесь.

— Да брось врать! Где письмо?

— Да правда, забыл. Или мне это приснилось? Погоди, погоди! Да чего ты злишься? Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылки на брата, ты бы забыл, где вообще находишься. Погоди, сейчас вспомню!

Петрицкий вернулся в комнату и лег на свою кровать.

— Стой! Так, я лежал, так он стоял. Да-да-да-да... Вот оно! — и Петрицкий вытащил письмо из-под матраса, куда его засунул.

Вронский взял письмо и записку от брата. Это было то, чего он и ожидал: письмо от матери с упреками за то, что он не приезжает, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно поговорить. Вронский знал, что речь пойдет о том же самом. «Какое им дело!» — подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц пиджака, чтобы внимательно прочитать в дороге. В прихожей он столкнулся с двумя офицерами: один из их части, а другой из соседней.

Квартира Вронского всегда была местом сбора офицеров.

— Куда?

— Нужно в поселок.

— А "УАЗ" пригнали из ремзоны?

— Пригнали, но я еще не видел.

— Говорят, у Махотина "Тигр" забарахлил.

— Ерунда! Только как вы по этой грязи поедете? — спросил другой.

— Вот мои спасители! — закричал, увидев вошедших, Петрицкий, перед которым стоял денщик с водкой и соленым огурцом на подносе. — Вот Яшвин велит пить, чтобы взбодриться.

— Ну, вы вчера нам задали, — сказал один из вошедших, — всю ночь не давали спать.

— Нет, как мы закончили! — рассказывал Петрицкий. — Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, похоронный марш! Он так и заснул на крыше под похоронный марш.

— Ну и вечеринка вчера была! — рассказывал Петрицкий. — Волков залез на крышу гаража и говорит, что ему тоскливо. Я ему: давай включим музыку, похоронный марш! И он реально заснул там, на крыше, под этот марш.

— Выпей, выпей водки обязательно, а потом минералки с лимоном, побольше, — говорил Яшвин, нависая над Петрицким, как наседка над цыпленком, — а потом уже шампанского чуть-чуть, — ну, бутылочку.

— Вот это дело. Стой, Вронский, выпьем.

— Нет, простите, господа, сегодня я не пью.

— Что, поправиться боишься? Ну, тогда мы одни. Давай минералку и лимон.

— Вронский! — крикнул кто-то, когда он уже выходил в коридор.

— Что?

— Ты бы постригся, а то волосы у тебя тяжелые, особенно на лысине.

Вронский действительно рано начал лысеть. Он весело засмеялся, сверкнув ровными зубами, и, надвинув кепку на лысину, вышел и сел в машину.

— На конюшню! — сказал он и достал было телефон, чтобы посмотреть сообщения, но потом передумал, чтобы не отвлекаться до осмотра лошади. — "Потом"...

XXI.

Временная конюшня, ангар из профлиста, была построена рядом с ипподромом, и туда вчера должны были привезти его коня. Он еще не видел его. В последние дни он сам не ездил на тренировки, а поручил тренеру, и теперь совершенно не знал, в каком состоянии конь приехал. Едва он вышел из машины, как конюх, молодой парень, узнав издалека его машину, позвал тренера. Сухощавый иностранец в высоких резиновых сапогах и короткой куртке, с клочком волос под подбородком, неуклюжей походкой жокея, растопыривая локти и покачиваясь, вышел навстречу.

— Ну, что с Фру-Фру? — спросил Вронский по-английски.

— All right, sir, — все в порядке, сэра, — пробормотал иностранец. — Лучше не подходите, — добавил он, приподнимая кепку. — Я надел ему намордник, он возбужден. Лучше не подходить, это его беспокоит.

— Нет, я войду. Хочу взглянуть.

— Пойдем, — все так же не открывая рта, нахмурившись сказал иностранец и, размахивая локтями, пошел вперед своей разболтанной походкой.

Они вошли во двор перед ангаром. Дежурный, в чистой куртке, молодой парень с метлой в руке, встретил их и пошел следом. В ангаре стояло пять лошадей в стойлах, и Вронский знал, что здесь же сегодня должен быть и его главный соперник, рыжий Гладиатор Махотина. Даже больше, чем своего коня, Вронскому хотелось увидеть Гладиатора, которого он не видел; но Вронский знал, что, по неписанным правилам конного спорта, не только нельзя его видеть, но неприлично и расспрашивать о нем. В тот момент, когда они шли по проходу, парень открыл

дверь во второе стойло слева, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого открытого телефона, он отвернулся и подошел к стойлу Фру-Фру.

— Здесь лошадь Ма... Мак... никогда не могу выговорить это имя, — сказал иностранец через плечо, указывая грязным пальцем на стойло Гладиатора.

— Махотина? Да, это мой главный конкурент, — сказал Вронский.

— Если бы вы на нем выступали, — сказал иностранец, — я бы за вас болел.

— Фру-Фру нервный, но он сильнее, — сказал Вронский, улыбаясь от похвалы его мастерству.

— В конкуре все дело в умении и смелости, — сказал иностранец.

— Главное – уметь водить и иметь характер, – сказал инструктор.

Характера, то есть энергии и смелости, Вронский в себе чувствовал предостаточно. И, что важнее, был уверен: ни у кого в мире его не больше.

– Вы уверены, что больше тренировок не нужно?

– Не нужно, – ответил инструктор. – Только давайте тише. Машина нервничает, – добавил он, кивнув на гараж, где слышалось шуршание шин по бетону.

Он открыл дверь, и Вронский вошел в полумрак гаража. Там, переминаясь с места на место, стоял его внедорожник в защитной сетке. Оглядевшись, Вронский невольно окидывал взглядом все достоинства своей любимой машины. "Фру-Фру" была среднего размера, и по меркам автосалонов не идеальна. Узкий кузов, хотя бампер и выдавался вперед, казался непропорциональным. Задняя часть немного проседала, и в передней, особенно в задней подвеске, была заметная косолапость. Мощность двигателя не поражала воображение, но зато ширина колесной базы была необыкновенной, особенно сейчас, после тюнинга и облегчения веса. Колеса казались тонкими, если смотреть спереди, но широкими сбоку. Вся машина, кроме крыши, словно была сжата по бокам и вытянута в длину. Но у нее было качество, заставлявшее забыть обо всех недостатках: надежность. Та надежность, которая чувствуется сразу. Резкие линии кузова, проступающие сквозь защитную сетку, натянутую на тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, краске, казались такими же прочными, как сталь. Сухая оптика с выпуклыми, блестящими фарами, расширялась у решетки радиатора в выдающиеся воздухозаборники с красной подсветкой. Во всем облике, особенно в передней части, было определенное, энергичное и вместе с тем нежное выражение. Это была одна из тех машин, которые, кажется, не говорят только потому, что у них нет голосового помощника.

Вронскому казалось, что она понимает все, что он сейчас чувствует, глядя на нее.

Как только Вронский вошел, она глубоко вдохнула и, скосив фары так, что белок налился красным, смотрела на вошедших, потряхивая сеткой и упруго перекатываясь на колесах.

– Ну, вот видите, как она взволнована, – сказал инструктор.

– О, милая! О! – говорил Вронский, подходя к машине и успокаивая ее.

Но чем ближе он подходил, тем больше она нервничала. Только когда он подошел к передней части, она вдруг затихла, и кузов задрожал под тонкой краской. Вронский погладил ее крепкий капот, поправил на остром краю перекинувшуюся на другую сторону сетку и придвинулся лицом к ее растянутому, тонким, как крыло летучей мыши, воздухозаборникам. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных отверстий, вздрогнув, прижала зеркала и вытянула бампер к Вронскому, словно желая зацепить его за рукав. Но, вспомнив о сетке, она встряхнула ею и снова начала переставлять свои точеные колеса.

– Успокойся, милая, успокойся! – сказал он, погладив ее еще рукой по задней части, и с радостным сознанием, что машина в отличном состоянии, вышел из гаража.

– Да успокойся ты, – сказал он, похлопав коня по крупу и с довольным видом вышел из стойла. Конь был в отличной форме.

Волнение коня передалось и Вронскому. Он чувствовал, как кровь приливает к лицу, и ему, как и коню, хотелось движения, энергии. Было и волнительно, и радостно.

– Ну, я на вас надеюсь, – сказал он тренеру. – К половине седьмого быть на месте.

– Будет сделано, – ответил тот. – А вы куда путь держите, Андрей Петрович? – спросил он вдруг, употребив отчество, что случалось нечасто.

Вронский удивленно вскинул голову и посмотрел на тренера тем своим взглядом – не в глаза, а как бы на лоб, – удивляясь его фамильярности. Но, поняв, что тренер смотрит на него не как на начальника, а как на коллегу, ответил:

– Нужно к Брянскому заехать. Через час буду дома.

"Который раз сегодня спрашивают!" – подумал он и покраснел, что с ним редко случалось. Тренер внимательно посмотрел на него и, словно зная, куда едет Вронский, добавил:

– Главное – перед дорогой сохранять спокойствие. Не нервничайте и не расстраивайтесь по пустякам.

– All right, – улыбнулся Вронский и, запрыгнув в машину, велел водителю ехать в сторону элитного поселка.

Едва они отъехали, как туча, нависшая с утра, разразилась ливнем.

"Не вовремя, – подумал Вронский, поднимая стекло. – И так грязь, а теперь совсем раскиснет". Сидя в уединении, он достал письмо от матери и сообщение от брата и перечитал их.

Да, все одно и то же. И мать, и брат считают нужным вмешиваться в его личную жизнь. Это вмешательство вызывало у него злость – чувство, которое он испытывал редко. "Какое им дело? Почему все считают своим долгом меня поучать? И почему они ко мне пристают? Потому что видят, что это что-то такое, чего они не понимают. Будь это обычный мимолетный роман, они бы оставили меня в покое. Но они чувствуют, что это нечто большее, что эта женщина для меня дороже жизни. И это им непонятно, и потому раздражает. Какая бы ни была наша судьба, мы ее выбрали, и мы не жалуемся, – говорил он, в слове "мы" объединяя себя с ней. – Нет, им нужно научить нас, как жить. Они понятия не имеют о том, что такое настоящее счастье, они не знают, что без этой любви для нас нет ни счастья, ни несчастья – нет жизни".

Он злился на всех за вмешательство именно потому, что в глубине души чувствовал, что они правы. Он понимал, что любовь, связывающая его с ней, – не мимолетное увлечение, которое пройдет, не оставив следа, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность их положения, всю сложность – при их публичности – скрывать свои чувства, лгать и обманывать. Лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других, когда страсть, связывающая их, была так сильна, что они забывали обо всем на свете, кроме своей любви.

Он злился на всех за вмешательство именно потому, что в глубине души чувствовал их правоту. Он понимал, что его любовь к Анне – это не мимолетное увлечение, которое пройдет, не оставив следа, как это бывает в светских романах. Он осознавал всю болезненность их положения, всю сложность – когда они, словно под прицелом камер, вынуждены скрывать свои чувства, лгать и изворачиваться. Лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других, когда их страсть настолько сильна, что они забывают обо всем, кроме своей любви.

Он живо вспомнил все эти бесконечные случаи, когда приходилось лгать и обманывать, что было так противно его натуре. Особенно отчетливо он помнил, как часто замечал в ней чувство стыда за эту необходимость лжи. И его охватывало странное чувство, которое иногда возникало с тех пор, как он начал встречаться с Анной. Это было чувство отвращения к чему-то: то ли к Алексею Александровичу, то ли к самому себе, то ли ко всему миру – он не мог понять. Но он всегда старался отогнать от себя это чувство. И сейчас, встряхнувшись, он продолжил свои размышления.

"Да, раньше она была несчастна, но горда и спокойна. А теперь она не может быть спокойной и достойной, хотя и старается этого не показывать. Да, нужно заканчивать с этим", – решил он про себя.

И впервые ему пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. "Бросить все – и ей, и мне – и уехать куда-нибудь вдвоем, чтобы быть вместе", – сказал он себе.

XXII.

Ливень был коротким, и когда Вронский подъезжал к даче, гнал свою "бэу" по размокшей дороге, солнце снова выглянуло. Крыши коттеджей, старые тополя вдоль улицы блестели от влаги, с веток весело капало, а с водостоков бежала вода. Он уже не думал о том, как этот дождь повлияет на планы поехать на полигон, а радовался тому, что благодаря дождю наверняка застанет ее дома одну. Он знал, что муж Анны, недавно вернувшийся из командировки, еще не переехал из Москвы.

Надеясь застать ее одну, Вронский, как обычно, чтобы не привлекать внимания, оставил машину за углом и пошел пешком. Он не пошел к главному входу, а вошел во двор через калитку.

– Хозяин приехал? – спросил он у садовника.

– Никак нет. Хозяйка дома. Да вы через главный вход, там охрана есть, откроют, – ответил садовник.

– Нет, я через сад пройду.

Убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещал сегодня приехать и она, вероятно, не ждала его, он пошел по песчаной дорожке, обсаженной цветами, к террасе, выходящей в сад. Вронский забыл обо всем, о чем думал по дороге, о тяжести и сложности своего положения. Он думал только об одном – что сейчас увидит ее не в своих мечтах, а живую, настоящую. Он уже поднимался по ступеням террасы, стараясь ступать тихо, как вдруг вспомнил то, о чем всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношений с ней – ее сына, с его пристальным, неприятным, как ему казалось, взглядом.

Убедившись, что она одна, и желая застать её врасплох – он не обещал сегодня приехать, и она, наверное, не ждала его перед самым отправлением на полигон – Вронский пошёл к террасе, выходящей в сад, осторожно ступая по песчаной дорожке, окаймленной цветами. Саблю, правда, теперь не носят, но автомат он придерживал крепко. Все мысли о тяжести и сложности его положения, мучившие его по дороге, разом улетучились. Он думал только об одном: сейчас увидит её не в мечтах, а живую, настоящую. Уже поднимался по пологим ступеням террасы, стараясь ступать неслышно, как вдруг вспомнил то, о чём всегда забывал, и что причиняло ему самую острую боль в их отношениях – её сына, с его вечно вопрошающим и, как ему казалось, неприязненным взглядом.

Этот мальчик чаще всего становился помехой. Когда он был рядом, ни Вронский, ни Анна не позволяли себе говорить о чём-то, что нельзя было бы повторить при посторонних. Даже намёками не обменивались тем, чего бы мальчик не понял. Об этом не договаривались, так сложилось само собой. Обманывать ребёнка считалось оскорблением. В его присутствии они общались как просто знакомые. Но, несмотря на все предосторожности, Вронский часто ловил на себе внимательный, недоумевающий взгляд мальчика, чувствовал его странную робость, неровность в отношении к себе – то ласку, то холодность и застенчивость. Словно ребёнок ощущал, что между этим человеком и его матерью существует что-то важное, но непонятное ему.

И мальчик действительно чувствовал, что не может понять этих отношений, пытался разобраться, но не мог уяснить, как ему следует относиться к этому человеку. С детской чуткостью он видел, что отец, репетитор, няня – все не то что не любили, а смотрели на Вронского

с отвращением и страхом, хотя и не говорили о нём ничего плохого. А мать смотрела на него как на самого близкого друга.

"Что это значит? Кто он такой? Как его надо любить? Если я не понимаю, значит, я виноват, глупый или плохой", – думал ребёнок. Отсюда и его испытующий, вопросительный, отчасти неприязненный взгляд, робость и неровность, которые так смущали Вронского. Присутствие этого ребёнка неизменно вызывало у Вронского то странное чувство беспричинной неловкости, которое преследовало его в последнее время. Присутствие ребёнка вызывало и у Вронского, и у Анны чувство, подобное тому, что испытывает капитан корабля, когда видит по навигатору, что курс, которым он идёт, сильно отклоняется от правильного, но остановить движение он не в силах. Каждая минута уносит его всё дальше и дальше от цели, а признаться себе в отклонении – всё равно что признаться в гибели.

Этот ребёнок с его наивным взглядом на жизнь был как навигатор, показывающий им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели признавать.

Этот ребенок, с его наивным взглядом на мир, был как компас, указывающий им на то, насколько они отклонились от того, что знали, но не хотели признавать.

В этот раз Сергея не было дома, и Анна осталась одна, сидя на веранде и ожидая сына, которого дождь застал на прогулке. Она уже отправила помощника и девушку на его поиски и теперь сидела в ожидании. В белом платье с широким кружевом, она примостилась в углу веранды за цветами, не слыша, как он подошел. Склонив свою темную голову с кудрями, она прижалась лбом к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими руками, с кольцами, которые он так хорошо знал, держала ее. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз поражала Вронского, как неожиданное открытие. Он замер, любясь ею. Но стоило ему сделать шаг, чтобы приблизиться, как она почувствовала его присутствие, отстранилась от лейки и повернула к нему свое взволнованное лицо.

— Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? — спросил он по-французски, подходя ближе. Он хотел подбежать к ней, но, вспомнив, что их могут увидеть, оглянулся на дверь, ведущую в дом, и покраснел, как всегда, когда чувствовал необходимость бояться и оглядываться.

— Нет, я в порядке, — ответила она, вставая и крепко пожимая протянутую им руку. — Я не ждала... тебя.

— Боже мой, какие холодные руки! — воскликнул он.

— Ты меня напугал, — сказала она. — Я одна, жду Сережу. Он пошел гулять, его должны привести.

Но, несмотря на ее попытки казаться спокойной, губы ее дрожали.

— Простите, что приехал, но я не мог провести и дня, не увидев вас, — продолжал он по-французски, как всегда, избегая невозможного "вы" и опасного "ты" по-русски.

— За что прощать? Я рада!

— Но вы расстроены или вам нездоровится, — настаивал он, не отпуская ее руки и наклоняясь к ней. — О чем вы думали?

— Всё об одном и том же, — ответила она с натянутой улыбкой.

Она говорила правду. В любой момент, когда бы ее ни спросили, о чем она думает, она могла бы ответить без колебаний: об одном и том же, о своем счастье и своем несчастье. И сейчас, когда он застал ее, она думала именно об этом: почему для других, для той же Светланы, например (она знала о ее тайной связи с каким-то волонтером), всё это так легко, а для нее – такая мука? Сегодня эта мысль особенно терзала ее. Она спросила его о соревнованиях дронов. Он ответил, и, видя ее взволнованное состояние, попытался отвлечь, рассказывая в простом тоне о подготовке к ним.

"Сказать или не сказать? – думала она, глядя в его спокойные и любящие глаза. – Он сейчас так счастлив, так увлечен своими дронами, что не поймет, как надо, не осознает всей важности этого для нас".

— Но вы так и не сказали, о чем думали, когда я вошел, — прервал он свой рассказ. — Пожалуйста, скажите.

Она молчала, слегка наклонив голову и вопросительно глядя на него исподлбья своими глазами, блесевшими сквозь длинные ресницы. Ее рука, игравшая сорванным цветком, дрожала. Он заметил это, и его лицо выразило ту покорность, ту рабскую преданность, которая так подкупала ее.

— Я вижу, что что-то случилось. Разве я могу быть спокоен, зная, что у вас есть горе, которое я не разделяю? Скажите, прошу вас! — умоляюще повторил он.

"Да, я не прошу ему, если он не поймет всей важности этого. Лучше не говорить, зачем испытывать?" — думала она, не отрывая от него взгляда и чувствуя, что ее рука с цветком дрожит все сильнее.

— Ради Бога! — повторил он, беря ее руку в свою.

— Сказать?

— Сказать?

— Да, да, говори же!

— Я беременна, — прошептала она, еле слышно.

Листок бумаги в её руке задрожал сильнее, но она не отрывала взгляда от его лица, пытаясь понять его реакцию. Он побледнел, открыл рот, чтобы что-то сказать, но осекся, выпустил её руку и опустил голову. "Он понял всю серьёзность ситуации", — подумала она и благодарно сжала его ладонь.

Но она ошиблась, полагая, что он осознал значение этой новости так же, как она, женщина. Это известие лишь усилило его странное, неприятное чувство отчуждения, которое иногда накатывало на него. Но вместе с тем он понял, что кризис, которого он подсознательно ждал, наступил. Больше нельзя скрывать правду от мужа, необходимо как можно скорее разорвать эту неестественную ситуацию. Кроме того, её волнение передалось и ему. Он посмотрел на неё умиленным, покорным взглядом, поцеловал её руку, встал и молча зашагал по балкону.

— Да, — сказал он, решительно останавливаясь перед ней. — Ни я, ни ты не относились к нашим отношениям как к развлечению, а теперь наша судьба решена. Необходимо покончить, — он оглянулся, — с той ложью, в которой мы живём.

— Покончить? Как покончить, Алексей? — тихо спросила она.

Она успокоилась, и на её лице засияла нежная улыбка.

— Уйти от мужа и соединить наши жизни.

— Они и так соединены, — едва слышно ответила она.

— Да, но окончательно, навсегда.

— Но как, Алексей, научи меня, как? — спросила она с грустной усмешкой, осознавая безвыходность своего положения. — Разве есть выход из такой ситуации? Разве я не жена своего мужа?

— Из любой ситуации есть выход. Нужно решиться, — сказал он. — Всё лучше, чем то, как ты сейчас живёшь. Я же вижу, как ты страдаешь — от всего: от светской жизни, от сына, от мужа.

— Ах, только не от мужа, — с лёгкой усмешкой сказала она. — Я не знаю, я не думаю о нём. Его для меня не существует.

— Ты неискренна. Я знаю тебя. Ты страдаешь и из-за него.

— Да он и не знает ничего, — сказала она, и вдруг яркий румянец залил её лицо; щёки, лоб, шея покраснели, и слёзы стыда выступили на глазах. — Да и не будем о нём говорить.

Бронский уже несколько раз пытался, хотя и не так настойчиво, как сейчас, подтолкнуть её к обсуждению их положения, и каждый раз сталкивался с той поверхностностью и лёгкостью суждений, с которой она отвечала на его призывы. Как будто было что-то такое, чего она не могла или не хотела понять, как будто, как только она начинала говорить об этом, настоящая

Анна исчезала, и появлялась другая, странная, чуждая ему женщина, которую он не любил и боялся, и которая давала ему отпор. Но сегодня он решил высказать всё.

— Знает он или нет, — сказал Вронский своим обычным твёрдым и спокойным тоном, — знает он или нет, это не имеет значения. Мы не можем... ты не можешь так больше жить, особенно сейчас.

— И что же делать, по-твоему? — спросила она с той же лёгкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, что он не воспримет всерьёз её беременность, теперь было досадно, что он из этого делает вывод о необходимости что-то предпринять.

— Рассказать ему всё и уйти от него.

— Объявить ему всё и уйти?

— Отлично; допустим, я так и сделаю, — ответила она. — Ты хоть представляешь, что будет? Я тебе сейчас всё распишу, — и в её глазах, только что полных нежности, вспыхнул злой огонь. — «Ах, ты любишь другого и завела с ним... связь на стороне? (Она, передразнивая мужа, сделала акцент на слове "связь", как это делал бы чиновник из администрации.) Я предупреждал тебя о последствиях для твоей репутации и карьеры. Ты меня не послушала. Теперь я не могу допустить, чтобы моё имя было запятнано... и имя моего сына», — хотела она сказать, но сыном она не могла манипулировать... — «Я приму все зависящие от меня меры, чтобы предотвратить скандал». И сделает это спокойно, методично, как и сказал. Это не человек, а машина, и очень опасная, когда её разозлить, — добавила она, вспоминая его до мелочей: его фигуру, манеру говорить, его характер. И винила его во всём, что только могла придумать, не прощая ему ничего за ту страшную вину, в которой она была перед ним виновата.

— Но, Аня, — сказал Вронский мягко, убедительно, пытаясь её успокоить, — всё равно, нужно ему сказать, а потом уже действовать, исходя из его реакции.

— И что, бежать? Как беженцы?

— Почему бы и нет? Я не вижу другого выхода. И не ради себя, я вижу, как ты страдаешь.

— Да, бежать, и стать твоей содержанкой? — злобно сказала она.

— Аня! — укоризненно-нежно произнёс он.

— Да, — продолжала она, — стать твоей содержанкой и разрушить всё...

Она снова хотела сказать: сына, но не смогла произнести это слово.

Вронский не понимал, как она, с её сильным, честным характером, может выносить эту ложь и не желать вырваться из неё. Он не догадывался, что главная причина – это слово "сын", которое она не могла произнести. Когда она думала о сыне и о том, как он будет относиться к матери, бросившей отца, ей становилось так страшно за содеянное, что она переставала рассуждать и, как любая женщина, пыталась успокоить себя лживыми оправданиями, лишь бы всё оставалось как прежде и можно было забыть о страшном вопросе: что будет с сыном?

— Я прошу тебя, я умоляю тебя, — вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку, — никогда не говори со мной об этом!

— Но, Аня...

— Никогда. Оставь это мне. Я знаю всю низость, весь ужас своего положения; но это не так просто решить, как тебе кажется. Просто оставь это мне и доверься мне. Никогда не говори со мной об этом. Обещаешь? Нет, нет, пообещай!

— Я всё обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна...

— Я! — повторила она. — Да, я мучаюсь иногда; но это пройдёт, если ты никогда не будешь говорить со мной об этом. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда это меня мучает.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Я знаю, — перебила она его, — как тяжело твоей честной натуре лгать, и мне тебя жаль. Я часто думаю, что из-за меня ты загубил свою жизнь.

— Я то же самое сейчас думал, — сказал он, — как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастна.

— Я сейчас о том же думал, — сказал он. — Как ты могла из-за меня всем пожертвовать? Не могу себе простить, что ты несчастлива.

— Несчастлива? — переспросила она, подходя ближе и глядя на него с обожанием. — Да я как человек, который голодал, а его накормили. Пусть у него куртка старая, может, и стыдно немного, но он не несчастлив. Я несчастна? Глупости! Вот оно, мое счастье...

Она услышала голос сына, который возвращался, быстро окинула взглядом террасу и резко встала. В глазах вспыхнул знакомый ему огонь. Она стремительно подняла свои красивые руки с кольцами, взяла его лицо в ладони, долго смотрела в глаза, потом притянула к себе и быстро поцеловала в губы и в оба глаза, отстранила. Хотела уйти, но он удержал ее.

— Когда? — прошептал он, глядя на нее с восторгом.

— Сегодня, в час, — прошептала она в ответ и, тяжело вздохнув, пошла легкой походкой навстречу сыну.

Сережу дождь застал в парке, и они с няней переждали его в беседке.

— Ну, до свидания, — сказала она Вронскому. — Мне скоро на ипподром. Подруга обещала заехать.

Вронский взглянул на часы и поспешно уехал.

XXIV.

Когда Вронский смотрел на часы на балконе у Карениных, он был так взволнован и погружен в свои мысли, что видел стрелки, но не мог понять, который час. Он вышел на улицу и, осторожно ступая по лужам, направился к своей машине. Он был настолько переполнен чувствами к Анне, что даже не подумал о времени и о том, успеет ли он к генералу Петрову. У него осталась, как это часто бывает, только внешняя память, подсказывающая, что за чем нужно делать. Он подошел к водителю, задремавшему в машине в тени дерева, полюбовался роem мошкары, кружившимся над капотом, разбудил водителя, сел в машину и велел ехать к Петрову. Только отъехав километров десять, он пришел в себя, посмотрел на часы и понял, что уже половина шестого и он опаздывает.

В этот день на ипподроме было несколько заездов: сначала показательные выступления кавалерии, потом офицерский заезд на два километра, потом на четыре, и, наконец, тот, в котором должен был участвовать он. На свой заезд он еще мог успеть, но если поедет к Петрову, то приедет на ипподром уже после начала. Это было нежелательно. Но он дал Петрову слово, поэтому решил ехать дальше, приказав водителю прибавить скорость.

Он приехал к Петрову, пробыл у него пять минут и помчался обратно. Эта быстрая езда немного успокоила его. Все тяжелые мысли, связанные с Анной, вся неопределенность, оставшаяся после разговора, вылетели из головы. Он с удовольствием и волнением думал о заезде, о том, что он все-таки успеет, и изредка предвкушение встречи с Анной этой ночью вспыхивало ярким светом в его воображении.

Чувство предстоящего заезда все сильнее охватывало его по мере того, как он приближался к ипподрому, обгоняя машины, ехавшие с дач и из города.

Дома никого не было: все уехали на ипподром, и только охранник ждал его у ворот. Пока он переодевался, охранник сообщил, что уже начался второй заезд, что приезжало много людей, спрашивали про него, и из конюшни дважды прибежал конюх.

В его квартире уже никого не было: все уехали на полигон, и водитель ждал у подъезда. Пока он переодевался, водитель доложил, что начались уже вторые заезды, что звонили несколько человек, спрашивали про него, и дважды приезжал связной из штаба.

Переодевшись не спеша (он никогда не торопился и умел держать себя в руках), Вронский велел ехать к позициям. Издалека уже виднелось скопление машин, людей в форме и гражданских, окружавших полигон, и толпы зрителей на трибунах. Вероятно, шли вторые

заезды, потому что, когда он вошел на территорию, услышал сигнал. Подходя к месту старта, он увидел белоногого рыжего "Гладиатора" Махотина, которого в оранжевом с синим чехле и огромными, обшитыми синим наушниками вели к стартовой площадке.

— Где Корд? — спросил он у техника.

— В ангаре, готовит.

В открытом боксе "Фру-Фру" уже стояла, полностью подготовленная. Ее собирались выводить.

— Не опоздал?

— All right! All right! Всё в порядке, всё в порядке, — проговорил англичанин, — не волнуйтесь.

Вронский еще раз окинул взглядом прекрасные, любимые очертания машины, дрожавшей всем корпусом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из ангара. Он подъехал к трибунам в самый подходящий момент, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Только что закончился заезд на два километра, и все взгляды были устремлены на бойца из танкового батальона впереди и морпеха сзади, выжимавших последние силы из своих машин и приближавшихся к финишу. Изнутри и снаружи круга все теснились к финишной черте, и группа солдат и офицеров танкового батальона громкими возгласами выражала радость ожидаемой победы своего товарища. Вронский незаметно вошел в толпу почти в тот самый момент, когда прозвучал сигнал, завершающий заезд, и высокий, забрызганный грязью танкист, пришедший первым, откинувшись на сиденье, ослабил управление своим серым, потемневшим от пота, тяжело дышащим "зверем".

Танк, с усилием переставляя гусеницы, замедлил ход своего огромного тела, и танкист, словно очнувшись от тяжелого сна, огляделся вокруг и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его.

Вронский намеренно избегал той избранной, светской тусовки, которая сдержанно и непринужденно двигалась и переговаривалась перед трибунами. Он знал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не отвлекаться, не подходил к ним. Но постоянно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая подробности прошедших заездов и расспрашивая, почему он опоздал.

В то время как победителей приглашали на трибуну для награждения, старший брат Вронского, Александр, полковник с аксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, подошел к нему.

— Ты получил моё сообщение? — сказал он. — Тебя вечно не найти.

Александр Вронский, несмотря на разгульную, особенно пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне себе человек системы.

Он сейчас, говоря с братом о неприятной для него вещи, зная, что многие могут наблюдать за ними, имел вид улыбающийся, словно он о чем-то неважном шутил с братом.

— Я получил и, честно говоря, не понимаю, о чем ты беспокоишься, — сказал Алексей.

— Я беспокоюсь о том, что мне только что намекнули, что тебя нет на месте и что в понедельник тебя видели в районе передовой.

— Есть вопросы, которые должны обсуждаться только теми, кто непосредственно в них заинтересован, и вопрос, о котором ты так беспокоишься, именно такой...

— Есть вопросы, которые должны обсуждаться только теми, кого это напрямую касается.

И то, о чём ты так печёшься, именно такой случай...

— Да, но тогда не служат, не...

— Я прошу тебя, не вмешивайся, и всё.

Нахмуренное лицо Алексея побледнело, и его выдающаяся челюсть задрожала, что с ним случалось редко. Он, как человек добрый, злился нечасто, но когда злился и у него дрожали подбородок, то, как знал Александр, он становился опасен. Александр усмехнулся.

— Я просто хотел передать письмо от матери. Ответь ей и не нервничай перед поездкой. *Bonnie chance*, — добавил он, улыбаясь, и отошёл.

Но тут его снова окликнули.

— Друзей не признаёшь! Здравствуй, *mon cher!* — заговорил Степан, и здесь, среди столичного доска, он блистал не меньше, чем в Москве, своим румяным лицом и напомаженными бакенбардами. — Вчера приехал и очень рад, что увижу твой триумф. Когда увидимся?

— Заходи завтра в штаб, — сказал Алексей, пожал ему руку и, извинившись, за рукав куртки, отошёл в центр полигона, куда уже выводили технику для смотра.

Потные, измученные машины, сопровождаемые механиками, уезжали, и одна за другой появлялись новые, свежие, в основном импортные, в чехлах, с подтянутыми боками, похожие на странных огромных птиц. Справа вели поджарую красавицу "Фру-Фру", которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных амортизаторах. Недалеко от неё снимали маскировку с лопоухого "Гладиатора". Крупные, прекрасные, совершенно правильные формы тягача с чудесной кормой и необычайно короткими, почти у земли, колёсами невольно останавливали на себе внимание Алексея. Он хотел подойти к своей машине, но его снова задержал знакомый.

— А, вот и Каренин! — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. — Ищет жену, а она в центре палатки волонтеров. Вы не видели её?

— Нет, не видел, — ответил Алексей и, даже не оглянувшись на палатку, в которой ему указывали на Каренину, подошёл к своей машине.

Не успел Алексей осмотреть крепления, как скачущих позвали к трибуне для получения номеров и инструктажа. С серьёзными, строгими, многие с бледными лицами, семнадцать офицеров собрались у трибуны и разобрали номера. Алексею достался седьмой. Послышалось: "По машинам!"

Чувствуя, что он вместе с другими участниками является центром внимания, Алексей в напряжённом состоянии, в котором он обычно становился медлительным и спокойным в движениях, подошёл к своей машине. Командир для торжества смотра оделся в свой парадный костюм: чёрный застёгнутый китель, туго накрахмаленный воротник, подпиравший щеки, и круглую чёрную фуражку и берцы. Он был, как всегда, спокоен и важен и сам держал машину, стоя перед ней. "Фру-Фру" продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз её косился на подходившего Алексея. Алексей подsunул палец под ремень крепления. Машина покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился, желая выразить улыбку над тем, что проверяли его работу.

— Садитесь, меньше будете волноваться.

— Присаживайтесь, так хоть волноваться будете меньше.

Вронский бросил последний взгляд на соперников. Он знал, что во время заезда уже не увидит их. Двое уже продвинулись к месту старта. Гальцин, один из главных конкурентов и приятель Вронского, возился со своим гнедым, который никак не давал сесть в седло. Какой-то молодой лейтенант в обтягивающих штанах скакал галопом, согнувшись в три погибели, подражая западным наездникам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей чистокровной кобыле с конного завода, а конюх вел ее под уздцы. Вронский и его товарищи знали Кузовлева и его "слабые" нервы, помноженные на огромное самолюбие. Знали, что он всего боится, особенно ездить на боевых лошадях; но именно потому, что это страшно, потому что люди ломают себе шеи, а у каждого препятствия дежурит врач, стоит санитарная машина с крестом и медсестра, он и решился участвовать. Они встретились взглядами, и Вронский ободряюще ему подмигнул. Не хватало только главного соперника, Махотина, на его Гладиаторе.

— Не спешите, — посоветовал Корд Вронскому, — и помните: не задерживайте ее перед препятствиями и не подгоняйте, пусть сама выбирает, как ей удобнее.

— Хорошо, хорошо, — ответил Вронский, беря поводья.

— Если получится, лидируйте; но не отчаивайтесь до последнего, даже если будете позади.

Лошадь еще не успела тронуться, как Вронский, одним гибким и сильным движением, встал в стальное стремя и легко, уверенно опустился в седло, скрипнувшее под ним кожей. Привычным жестом он выровнял двойные поводья между пальцами, и Корд отпустил их. Словно не зная, с какой ноги начать, Фру-Фру, вытягивая длинную шею, тронулась, как на пружинах, покачивая всадника на своей гибкой спине. Корд, ускоряя шаг, шел следом. Взволнованная лошадь то и дело пыталась обмануть седока, вытягивая поводья, и Вронский тщетно пытался успокоить ее голосом и рукой.

Они уже приближались к перегороженной реке, направляясь к месту старта. Многие участники были впереди, многие — позади, когда Вронский услышал за спиной звук галопа по грязи и увидел, как его обогнал Махотин на своем белоногом Гладиаторе с большими ушами. Махотин улыбнулся, обнажая длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он вообще не любил Махотина, а сейчас считал его самым опасным соперником и разозлился, что тот проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу в галоп, сделала пару прыжков и, разозлившись на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, подбрасывавшую седока. Корд тоже нахмурился и почти бежал рысью за Вронским.

XXV.

Всего в заезде участвовало семнадцать офицеров. Скачки должны были проходить на большом эллиптическом кругу длиной в четыре версты перед трибуной. На кругу было девять препятствий: река, большой, в два аршина, глухой барьер прямо перед трибуной, сухая канава, канава с водой, косогор, ирландская банкетка (одно из самых сложных препятствий), состоящая из вала, за которым, невидимая для лошади, находилась канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия сразу или разбиться; затем еще две канавы с водой и одна сухая, — и финиш напротив трибуны. Но старт был не с круга, а в ста саженьях от него, и на этом отрезке находилось первое препятствие — перегороженная река шириной в три аршина, которую участники могли перепрыгнуть или перейти вброд по своему усмотрению.

Семнадцать офицеров участвовали в скачках. Соревнования проходили на большом овальном кругу, примерно четыре версты в длину, прямо перед трибуной. На трассе было девять препятствий: искусственный водоём, высокий, около полутора метров, сплошной барьер перед самой трибуной, сухой ров, ров с водой, косогор, ирландская банкетка (одно из самых сложных препятствий) — земляной вал, за которым, невидимый для лошади, находился ров, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или упасть; затем ещё два рва с водой и один сухой. Финиш располагался напротив трибуны. Но старт давали не на кругу, а в ста метрах от него, и там находилось первое препятствие — небольшая речка шириной около двух метров, которую участники могли перепрыгнуть или перейти вброд по своему усмотрению.

Раза три всадники выстраивались в линию, но каждый раз кто-нибудь вырывался вперёд, и приходилось начинать заново. Полковник Сестрин, отвечавший за старт, начинал нервничать, когда наконец в четвёртый раз скомандовал: «Марш!» — и скачки начались.

Все взгляды, все бинокли были устремлены на пёструю группу всадников, выравнивающихся на старте.

«Стартовали! Пошли!» — разнеслось вокруг после напряжённого ожидания.

Зрители, стоявшие группами и поодиночке, стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту плотная группа всадников растянулась, и стало видно, как

они по двое, по трое и по одному приближаются к реке. Зрителям казалось, что все скачут вместе, но для участников эти секунды разницы имели огромное значение.

Взволнованная и слишком нервная Фру-Фру потеряла момент старта, и несколько лошадей вырвались вперёд. Но, ещё не доезжая до реки, Вронский, изо всех сил сдерживая рвущуюся вперёд лошадь, легко обошёл троих, и впереди него остались только рыжий Гладиатор Махотина, ровно и легко работавший задом прямо перед Вронским, и прекрасная Диана, которую Кузовлев вёл из рук вон плохо.

В первые секунды Вронский ещё не полностью контролировал ни себя, ни лошадь. До первого препятствия, реки, он не мог полностью управлять движениями Фру-Фру.

Гладиатор и Диана подошли к реке почти одновременно: раз-раз – взмыли над водой и перелетели на другую сторону. Незаметно, словно летя, за ними взвилась Фру-Фру, но в тот самый момент, когда Вронский почувствовал себя в воздухе, он вдруг увидел почти под ногами своей лошади Кузовлева, барахтавшегося с Дианой на той стороне реки (Кузовлев отпустил поводья после прыжка, и лошадь перевернулась с ним через голову). Эти подробности Вронский узнал уже потом, а сейчас он видел только, что прямо под ноги Фру-Фру может попасть нога или голова Дианы. Но Фру-Фру, словно кошка, в прыжке напрягла ноги и спину и, миновав лошадь, понеслась дальше.

«Умница!» – подумал Вронский.

После реки Вронский полностью овладел лошадью и стал сдерживать её, намереваясь пройти большой барьер позади Махотина и уже на следующей, свободной дистанции в двести метров попытаться обойти его.

После речки Вронский полностью освоился с лошадью и начал сдерживать ее, планируя взять большое препятствие сразу за Махотиным, а уже на следующем, свободном участке метров в двести, попытаться обойти его.

Большое препятствие стояло прямо напротив VIP-ложи. Высокопоставленные чиновники, и свита, и журналисты – все смотрели на них, на Вронского и на Махотина, идущего впереди на корпус. Когда они приближались к "черту" (так называли этот высокий барьер), Вронский чувствовал направленные на него взгляды, но видел только уши и шею своей кобылы, приближающуюся землю и круп, и белые ноги Гладиатора, быстро отбивавшие такт впереди и остававшиеся на том же расстоянии. Гладиатор взлетел, не задев ничего, махнул коротким хвостом и исчез из поля зрения Вронского.

– Bravo! – крикнул кто-то.

В то же мгновение перед глазами Вронского, прямо перед ним, промелькнули доски барьера. Лошадь взмыла вверх, не меняя темпа; доски остались позади, и только сзади что-то стукнуло. Разогретая идущим впереди Гладиатором, кобыла прыгнула слишком рано и задела препятствие задним копытом. Но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо ком земли, понял, что снова находится на том же расстоянии от Гладиатора. Он снова увидел перед собой его круп, короткий хвост и все те же, не удаляющиеся, быстродвигающиеся белые ноги.

В тот момент, когда Вронский подумал о том, что пора обходить Махотина, Фру-Фру, словно прочитав его мысли, без всякого понукания прибавила ходу и начала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны бровки. Махотин не давал себя обойти. Вронский только подумал о том, что можно обойти и по внешней дуге, как Фру-Фру сменила ногу и начала обходить именно так. Уже потемневшее от пота плечо Фру-Фру поравнялось с крупом Гладиатора. Несколько скачков они шли бок о бок. Но перед следующим препятствием Вронский, чтобы не делать большой круг, начал работать поводьями и быстро, прямо на косогоре, обошел Махотина. Он мельком увидел его лицо, забрызганное грязью. Ему даже показалось, что тот улыбнулся. Вронский обошел Махотина, но чувствовал его сразу за собой и постоянно слышал за спиной ровный топот и отрывистое, еще свежее дыхание ноздрей Гладиатора.

Следующие два препятствия, канава и барьер, были взяты легко, но Вронский стал слышать ближе сап и топот Гладиатора. Он подстегнул лошадь и с радостью почувствовал, что она легко прибавила ходу, и звук копыт Гладиатора снова стал слышен на прежнем расстоянии.

Следующие два препятствия – глубокая траншея и покосившийся бетонный блок – были преодолены без особых проблем, но Вронский стал отчетливее слышать, как тяжело дышит и спотыкается "Гладиатор". Он подстегнул коня и с облегчением почувствовал, как тот легко прибавил ходу, и звук копыт "Гладиатора" снова стал слышен на прежнем расстоянии.

Вронский лидировал в забеге – именно этого он и добивался, как и советовал ему Корд, и теперь он был уверен в победе. Волнение, радость и нежность к "Фру-Фру" только усиливались. Ему хотелось обернуться, посмотреть, где остальные, но он не решался этого сделать, стараясь успокоиться и не загонять коня, чтобы сохранить силы, равные тем, что, как он чувствовал, остались у "Гладиатора". Оставалось последнее и самое сложное препятствие – полоса препятствий из противотанковых ежей; если он пройдет ее первым, то победа у него в кармане. Он приближался к ней. Вместе с "Фру-Фру" он еще издали увидел эти ржавые конструкции, и обоим их, его и коня, на мгновение охватило сомнение. Он заметил нерешительность в ушах коня и поднял хлыст, но тут же почувствовал, что сомнения были напрасны: конь знал, что нужно делать. Он прибавил скорости и, рассчитав прыжок, взмыл в воздух, перелетев через полосу препятствий; и в том же ритме, без усилий, с той же ноги, "Фру-Фру" продолжил скачку.

– Bravo, Вронский! – донеслись до него голоса группы людей – он узнал своих сослуживцев и приятелей, – которые стояли у этого препятствия; он не мог не узнать голос Яшвина, но самого его не видел.

— Bravo, Вронский! — донеслись голоса из небольшой группы людей. Он узнал своих, из полка, приятелей, стоявших у препятствия. Голос Яшвина он точно узнал, хотя и не видел его самого.

«Ну, держись, моя красавица!» — думал он о своей кобыле Фру-Фру, прислушиваясь к звукам сзади. «Взял!» — подумал он, услышав, как Гладиатор перепрыгнул барьер. Оставалась последняя канава с водой, метра полтора шириной. Вронский даже не смотрел на нее. Желая вырваться вперед, он энергично работал поводьями, поднимая и опуская голову лошади в такт ее скачкам. Он чувствовал, что лошадь выкладывается на полную. Не только шея и бока ее были мокрыми, но и на загривке, на голове, на острых ушах выступили капли пота. Дышала она тяжело и прерывисто. Но он знал, что сил хватит на оставшиеся двести метров. Только по ощущению близости к земле и особой мягкости движений Вронский понимал, насколько его лошадь прибавила в скорости. Канаву она перелетела, словно не заметив. Перелетела, как птица. Но в этот самый момент Вронский, к своему ужасу, почувствовал, что не успел за движением лошади и, сам не понимая как, допустил грубую, непростительную ошибку, опустившись в седле. Вдруг его положение резко изменилось, и он понял, что случилось что-то страшное. Он еще не успел осознать произошедшее, как мимо него пронеслись белые ноги рыжего жеребца, и Махотин промчался вперед. Вронский коснулся ногой земли, и его лошадь рухнула на эту ногу. Он едва успел выдернуть ее, как Фру-Фру упала на бок, тяжело хрипя. Пытаясь подняться, она тщетно дергала своей тонкой, мокрой шеей и забилась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение Вронского сломало ей спину. Но это он понял гораздо позже. Сейчас он видел только, как Махотин стремительно удаляется, а он, шатаясь, стоит один на грязной, неподвижной земле. Перед ним, тяжело дыша, лежит Фру-Фру и, повернув к нему голову, смотрит своим прекрасным глазом. Все еще не понимая, что произошло, Вронский дернул лошадь за повод. Она снова забилась, как рыбка, с треском крыльев седла, вытянула передние ноги, но, не в силах поднять зад, тут же задергалась и снова упала на бок. С искаженным от страдания лицом, бледный, с дрожащей нижней челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и снова потянул за поводья. Но она не двигалась, а, уткнувшись мордой в землю, лишь смотрела на хозяина своим говорящим взглядом.

— Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову. — Ааа! Что я наделал! — закричал он. — И скачки проиграны! И моя вина, позорная, непростительная! И эта несчастная, милая, загубленная лошадь! Ааа! Что я наделал!

Люди, врач и фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастью, он чувствовал, что цел и невредим. Лошадь сломала спину, и было решено ее пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог ни с кем говорить. Он повернулся и, не подняв слетевшую с головы фуражку, пошел прочь с ипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя раздавленным. Впервые в жизни он испытал такое тяжелое несчастье, несчастье непоправимое и такое, в котором виноват он сам.

Яшвин, с фуражкой в руке, догнал его, проводил до дома, и через полчаса Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этих скачках надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни.

XXVI.

Отношения Алексея Александровича с женой оставались прежними, разве что он стал еще более занят. Как только потеплело, он, по заведенной традиции, уехал на воды в Карловы Вары – поправить здоровье, расшатанное зимними трудами. Вернулся в июле и с удвоенной энергией взялся за работу. Жена, как обычно, перебралась на дачу в Козин, а он остался в Киеве.

После того разговора после вечера у княгини Тверской, он ни разу не затронул тему своих подозрений и ревности. Его привычный отстраненный тон как нельзя лучше подходил для нынешних отношений с Анной. Он стал немного холоднее к ней, словно затаил обиду за тот ночной разговор, которого она избежала. В его отношении сквозило легкое раздражение, не более. «Ты не захотела объясниться со мной, – будто говорил он мысленно, – тем хуже для тебя. Теперь ты будешь просить, а я не стану. Сама виновата», – думал он, как человек, который тщетно пытался потушить пожар, разозлился на свои неудачи и сказал: «Ну и гори все синим пламенем!»

Этот умный и проницательный в служебных делах человек не понимал всего безумия своего поведения. Он не хотел видеть правду, потому что боялся осознать свое истинное положение. Он закрыл, запер и запечатал в своей душе тот ящик, где хранились его чувства к семье – к жене и сыну. Внимательный прежде отец, с конца зимы он стал особенно холоден к Сереже, подтрунивал над ним, как и над женой. «А, молодой человек!» – обращался он к сыну с иронией.

Алексей Александрович твердил, что никогда еще у него не было столько работы, как в этом году. Но он не признавался себе, что сам придумывает себе дела, чтобы не открывать тот страшный ящик, где лежали мысли о жене и семье. Чем дольше они там оставались, тем страшнее становились. Если бы кто-то осмелился спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, кроткий и смирный Алексей Александрович ничего бы не ответил, а страшно рассердился бы на этого человека. Поэтому в его лице появилось что-то гордое и строгое, когда спрашивали о здоровье Анны. Алексей Александрович не хотел думать о поведении и чувствах жены, и действительно старался об этом не думать.

Алексей Александрович твердил, что никогда у него не было столько работы, как в этом году. Но он не признавался себе, что сам создавал себе эту занятость. Это был лишь способ не открывать тот ящик, где лежали чувства к жене и семье, мысли о них. И чем дольше он откладывал, тем страшнее становилось заглянуть внутрь. Если бы кто-то осмелился спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, этот обычно кроткий и сдержанный человек, скорее всего, вспылит бы на дерзость вопроса. Отсюда и появлялась в его лице горделивая и строгая маска, когда речь заходила о здоровье супруги. Алексей Александрович упорно не хотел думать о поступках и чувствах Анны, и, по сути, успешно избегал этих мыслей.

Раньше Алексей Александрович постоянно жил на даче в Комарово под Петербургом, и графиня Лидия Ивановна обычно проводила лето по соседству, поддерживая тесные связи с Анной. Но в этом году Лидия Ивановна отказалась от летнего отдыха в Комарово, ни разу не навестила Анну Аркадьевну и намекнула Алексею Александровичу на нежелательность сближения Анны с Бетси и Вронским. Алексей Александрович резко оборвал её, заявив, что его жена вне подозрений, и с тех пор старался избегать общения с графиней. Он не хотел замечать, как в обществе уже косо смотрят на его жену, не хотел понимать, почему Анна так настаивала на переезде в Пушкин, где жила Бетси, недалеко от полигона, где дислоцировалась часть Вронского. Он запрещал себе думать об этом и успешно это делал. Но в глубине души, не признаваясь даже себе и не имея никаких доказательств, даже подозрений, он знал наверняка, что его обманывают, и это знание причиняло ему глубокую боль.

Сколько раз за восемь лет счастливой семейной жизни, глядя на чужих неверных жён и обманутых мужей, Алексей Александрович задавался вопросом: "Как можно довести до такого? Как не разорвать этот узел?" Но теперь, когда беда постучалась в его дверь, он не только не думал о том, как разрешить ситуацию, но и старался её не замечать, именно потому, что она казалась ему слишком ужасной, слишком противоестественной.

С момента возвращения из командировки Алексей Александрович лишь дважды побывал на даче. Один раз пообедал, другой раз провёл вечер с гостями, но ни разу не остался ночевать, как делал это раньше.

День проведения соревнований дронов был очень насыщенным для Алексея Александровича. Но, составив с утра подробный план, он решил, что сразу после раннего обеда поедет на дачу к жене, а оттуда – на соревнования, где будет присутствовать всё руководство и где его присутствие необходимо. К жене же он заедет, потому что решил посещать её раз в неделю для соблюдения приличий. Кроме того, ему нужно было передать Анне деньги на текущие расходы к пятнадцатому числу, как было заведено.

С присущей ему способностью контролировать свои мысли, обдумав всё, что касалось жены, он не позволил своим мыслям углубляться дальше в эту тему.

Алексей Александрович, как всегда умевший держать свои мысли под контролем, постарался не думать о жене слишком долго.

Утро выдалось напряженным. Накануне графиня Лидия Ивановна прислала ему брошюру известного путешественника, побывавшего в Китае, с просьбой принять его лично – дескать, человек интересный и полезный во многих отношениях. Алексей Александрович не успел прочесть брошюру вечером, закончил утром. Потом начались посетители, доклады, приемы, назначения, увольнения, распределение премий, надбавок, пенсий, переписка – рутина, как называл это Алексей Александрович, отнимавшая уйму времени. Затем – личные дела: визит к врачу и управляющему. Управляющий не задержался долго. Передал нужную сумму и кратко отчитался о состоянии дел. Не все было гладко: из-за частых командировок в этом году расходы превысили доходы, образовался дефицит. А вот доктор, известный московский врач, с которым Алексей Александрович был в приятельских отношениях, занял много времени. Алексей Александрович не ждал его сегодня и удивился его приезду, а еще больше – тому, как внимательно доктор расспрашивал о его самочувствии, прослушал грудь, постучал и ощупал печень. Алексей Александрович не знал, что его друг Лидия Ивановна, заметив, что здоровье его в последнее время неважное, попросила доктора приехать и осмотреть его. "Сделайте это для меня", – сказала она.

– Я сделаю это для России, графиня, – ответил доктор.

– Бесценный человек! – воскликнула Лидия Ивановна.

Доктор остался недоволен состоянием Алексея Александровича. Печень увеличена, аппетит снижен, лекарства не помогают. Он предписал как можно больше физической активности и как можно меньше умственного напряжения, и главное – никаких переживаний. То

есть, то, что для Алексея Александровича было так же невозможно, как не дышать. Доктор уехал, оставив Алексея Александровича с неприятным ощущением, что с ним что-то не так, и исправить это невозможно.

Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакомым ему Слюдиным, руководителем аппарата. Они были однокурсниками, редко виделись, но уважали друг друга и были в хороших приятельских отношениях. Поэтому только Слюдину доктор мог высказать свое откровенное мнение о пациенте.

– Как я рад, что вы у него были, – сказал Слюдин. – Он неважно выглядит, и мне кажется... Ну что?

– А вот что, – сказал доктор, махнув рукой через голову Слюдина своему водителю, чтобы тот подавал машину. – Вот что, – сказал доктор, натягивая палец лайковой перчатки. – Не натягивайте струну и попробуйте порвать – очень трудно. Но натяните до предела и надавите на нее – она лопнет. А он, из-за своей усидчивости и добросовестности, натянута до предела. А давление извне есть, и сильное, – заключил доктор, значительно подняв брови. – На салют поедете? – добавил он, спускаясь к подъехавшей машине. – Да, да, конечно, это отнимает много времени, – ответил доктор что-то в ответ на слова Слюдина, которые он не расслышал.

– Знаешь что, – сказал доктор, махнув через голову Слюдина своему водителю, чтобы тот подавал машину. – Вот что, – повторил доктор, беря в свои белые руки кончик лайковой перчатки и натягивая его. – Не натягивайте струну и попробуйте порвать – очень трудно; но натяните до предела и надавите пальцем на натянутую струну – она лопнет. А он, по своей усидчивости, добросовестности к работе, – он натянута до последней степени; а давление извне есть, и тяжелое, – заключил доктор, значительно подняв брови. – На скачках будете? – добавил он, спускаясь к подъехавшему авто! – Да, да, разумеется, это занимает много времени, – ответил доктор что-то такое на сказанное Слюдиным и нерасслышанное им.

Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился известный блогер-путешественник, и Алексей Александрович, пользуясь только что прочитанным постом и своим прежним знанием этого предмета, поразил блогера глубиной своего знания темы и широтой просвещенного взгляда.

Вместе с блогером доложили о приезде главы областной администрации, приехавшего в Петербург, и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было закончить текущие дела с руководителем аппарата, и еще надо было съездить по серьезному и важному вопросу к одному влиятельному человеку. Алексей Александрович только успел вернуться к пяти часам, времени своего обеда, и, пообедав с руководителем аппарата, пригласил его с собой поехать за город, на ипподром.

Сам того не осознавая, Алексей Александрович теперь искал случая, чтобы при его встречах с женой присутствовал кто-то третий.

XXVII.

Анна стояла наверху перед зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда услышала у подъезда звук колес, давящих щебень.

«Еще рано для Бетси», – подумала она и, взглянув в окно, увидела машину и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые ей уши Алексея Александровича. «Вот некстати; неужели с ночевкой?» – подумала она, и ей показалось настолько ужасным и страшным все, что могло из этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым и сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, тут же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажет.

– Ах, как мило! – сказала она, подавая руку мужу и улыбкой здороваясь с Михаилом Васильевичем, – Ты с ночевкой, надеюсь? – было первое слово, которое подсказал ей дух обмана, – а теперь едем вместе. Только жаль, что я обещала Бетси. Она за мной заедет.

Алексей Александрович поморщился при имени Бетси.

– О, я не стану разлучать неразлучных, – сказал он своим обычным шутливым тоном. – Мы поедem с Михаилом Васильевичем. Мне и доктор велел больше двигаться. Я пройдушь пешком и буду воображать, что я на курорте.

– Спешить некуда, – сказала Анна. – Хотите чаю? – Она позвонила.

– Подайте чай и скажите Сереже, что Алексей Александрович приехал. Ну, что, как твое здоровье? Михаил Васильевич, вы у меня не были; посмотрите, как у меня хорошо на балконе, – говорила она, обращаясь то к одному, то к другому.

Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком быстро. Она сама чувствовала это, тем более что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, она заметила, что он как будто наблюдал за ней.

Михаил Васильевич тут же вышел на террасу.

Она села рядом с мужем.

– Ты не очень хорошо выглядишь, – сказала она.

— Ты как-то неважно выглядишь, — заметила она.

— Да, — ответил он. — Сегодня приходил врач, отнял целый час. Чувствую, кто-то из друзей надоумил его: так уж им дорого мое здоровье...

— И что он сказал?

Она расспрашивала о здоровье, о работе, уговаривала отдохнуть, пожить у неё за городом.

Говорила она всё это быстро, весело, глаза блестели, но Алексей Александрович больше не придавал значения её тону. Он слышал только слова и воспринимал их буквально. Отвечал просто, даже с шуткой. В разговоре не было ничего особенного, но Анна потом не могла вспоминать эту короткую сцену без мучительного стыда.

Вошёл Серёжа, за ним гувернантка. Если бы Алексей Александрович обратил внимание, он бы заметил робкий, растерянный взгляд, которым Серёжа посмотрел сначала на отца, потом на мать. Но он не хотел ничего видеть и не видел.

— А, молодой человек! Как вырос. Совсем взрослый становится. Здравствуй, молодой человек.

И он протянул руку испуганному Серёже.

Серёжа, и раньше робевший перед отцом, теперь, после того как Алексей Александрович стал называть его «молодым человеком» и после его размышлений о том, кто Вронский — друг или враг, сторонился отца. Он оглянулся на мать, словно прося защиты. С матерью ему было хорошо. Алексей Александрович, разговаривая с гувернанткой, держал сына за плечо, и Серёже было так неловко, что Анна видела: он вот-вот заплачет.

Анна, покрасневшая в момент появления сына, заметив неловкость Серёжи, быстро вскочила, убрала руку Алексея Александровича с плеча сына, поцеловала Серёжу и увела его на террасу, тут же вернувшись.

— Ой, мне пора уже, — сказала она, взглянув на часы. — Что-то Бетси не едет!...

— Да, — сказал Алексей Александрович, вставая и потирая руки. — Я заехал денег тебе привезти, а то, как говорится, обещаниями сыт не будешь, — сказал он. — Наверное, нужно.

— Нет, не нужно... да, нужно, — ответила она, не глядя на него и краснея до корней волос. — Ты, наверное, заедешь сюда после скачек?

— Обязательно! — ответил Алексей Александрович. — А вот и петергофская красавица, княгиня Тверская, — добавил он, посмотрев в окно на подъезжавший внедорожник с тонированными стеклами. — Какая машина! Прелесть! Ну, тогда и я поеду.

Княгиня Тверская не вышла из машины. У подъезда выскочил охранник в строгом костюме.

— Я иду, прощайте! — сказала Анна, поцеловала сына, подошла к Алексею Александровичу и протянула ему руку. — Спасибо, что заехал.

Алексей Александрович поцеловал её руку.

— Ну, до свидания. Заезжай на чай, буду рада! — сказала она и вышла, сияющая и веселая. Но, как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикоснулись его губы, и с отвращением вздрогнула.

XXVIII.

Когда Алексей Александрович появился на ивенте, Анна уже сидела в VIP-ложе рядом с Бетси, где собирался весь бомонд. Она увидела мужа издалека. Два человека — муж и любовник — были для нее двумя полюсами жизни, и она почти физически чувствовала их приближение. Она издали заметила мужа и невольно следила за ним в толпе. Она видела, как он подходил к ложе, то снисходительно отвечая на заискивающие приветствия, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то выжидая взгляда влиятельных людей и снимая свою шляпу, которая давила на уши. Она знала все эти приемы, и они были ей отвратительны. «Одно честолюбие, одно желание пробиться — вот всё, что есть в его душе, — думала она, — а высокие материи, любовь к просвещению, мораль — лишь инструменты для достижения цели».

По его взгляду на женскую часть ложи (он смотрел прямо на нее, но не узнавал жену в море шелка, лент, перьев, сумочек и цветов) она поняла, что он искал ее; но она нарочно не замечала его.

— Алексей Александрович! — крикнула ему Бетси, — вы, наверное, не видите жену; вот она!

Он улыбнулся своей холодной улыбкой.

— Здесь столько всего, что глаза разбегаются, — сказал он и вошел в ложу. Он улыбнулся жене, как должен улыбаться муж, встречая жену, с которой он только что виделся, и поздоровался с Бетси и другими знакомыми, уделив каждому должное внимание: пошутил с дамами и обменялся приветствиями с мужчинами. Внизу, у ложи, стоял уважаемый Алексеем Александровичем генерал-адъютант, известный своим умом и образованием. Алексей Александрович заговорил с ним.

Был перерыв между заездами, и ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант критиковал гонки дронов. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его ровный голос, не пропуская ни слова, и каждое слово казалось ей фальшивым и резало слух.

Когда начался финальный заезд, она наклонилась вперед и, не отрывая глаз, смотрела на пилота Вронского, готовящегося к старту, и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но еще больше мучилась голосом мужа со знакомыми интонациями.

«Я плохая жена, я пропащая женщина, — думала она, — но я не люблю лгать, я не переносу лжи, а его пища — это ложь. Он всё знает, всё видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убил бы он меня, убил бы Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие», — говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была лишь выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как ребенок, ударившись, начинает прыгать, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо интеллектуальное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии, в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так и ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил:

— Я дура, просто конченная, — думала она. — Но врать не могу, терпеть не могу ложь, а для него ложь — это как воздух. Он же всё понимает, всё видит. И что он чувствует, раз может так спокойно говорить? Лучше бы убил меня, убил этого... этого волонтера. Тогда бы я его уважала. Но нет, ему важны только приличия и чтобы всё выглядело пристойно, — говорила себе Анна, толком не понимая, чего именно она ждет от мужа, каким хочет его видеть.

Она не понимала и того, что эта его нынешняя болтливость, которая её так раздражала, была просто способом справиться с тревогой. Как ребёнок, который упал и больно ударился, начинает бегать и прыгать, чтобы заглушить боль, так и ему нужно было постоянно что-то говорить, чтобы не думать о жене, о её... этих встречах, о постоянном упоминании его имени. А как ребёнку естественно прыгать, так и ему было естественно говорить умно и красиво.

– Риск на этих военных соревнованиях, в этих танковых манёврах – это неизбежная часть процесса, – говорил он. – Если наша армия может похвастаться успехами в танковых сражениях, то только потому, что мы исторически развивали эту силу, и технику, и людей. Спорт, на мой взгляд, имеет огромное значение, а мы, как всегда, видим только верхушку айсберга.

– Не верхушку, – сказала одна дама. – Говорят, у одного танкиста компрессионный перелом позвоночника.

Алексей Петрович улыбнулся своей фирменной улыбкой, которая только обнажала зубы, но ничего не выражала.

– Допустим, это не верхушка, – сказал он. – Но это издержки профессии, так сказать. Но дело не в этом, – и он снова повернулся к генералу, с которым до этого серьёзно разговаривал. – Не забывайте, что в соревнованиях участвуют военные, которые сами выбрали эту профессию. И согласитесь, у каждой профессии есть своя тёмная сторона. Это входит в обязанности военного. А вот эти бои без правил или коррида – это признак варварства. А профессиональный спорт – это признак развития.

– Нет, я больше не поеду, слишком это всё волнительно, – сказала одна из дам. – Правда, Анна?

– Волнует, но невозможно оторваться, – сказала другая. – Если бы я жила в Древнем Риме, я бы ни одного гладиаторского боя не пропустила.

Анна ничего не ответила и, не отрываясь, смотрела в бинокль в одну точку.

В это время мимо проходил генерал. Прервав речь, Алексей Петрович быстро, но с достоинством встал и низко поклонился.

– Сами не участвуете? – пошутил генерал.

– У меня своя гонка, посложнее, – почтительно ответил Алексей Петрович.

И хотя ответ ничего не значил, генерал сделал вид, что получил мудрый совет от умного человека и прекрасно понял смысл сказанного.

– Есть две стороны, – снова начал Алексей Петрович, – участники и зрители. И любовь к таким зрелищам – это верный признак невысокого уровня развития для зрителей, я согласен, но...

– Дамы, пари! – послышался голос Степана Аркадьевича, который обращался к Бетси. – За кого ставите?

– Мы с Анной за Кузовлева, – ответила Бетси.

– А я за этого... волонтёра. Пара перчаток.

– Идёт!

– А как красиво, правда?

Алексей Петрович помолчал, пока говорили вокруг, но тут же снова начал:

– Я согласен, но мужественные игры... – начал он.

– Я согласен, но эти игры в патриотизм... – продолжал он было.

Но тут объявили о начале заездов, и все разговоры стихли. Иван Петрович тоже замолчал, все встали и повернулись к трассе. Иван Петрович не интересовался гонками дронов и потому не смотрел на них, а рассеянно обводил зрителей усталым взглядом. Взгляд его остановился на Марине.

Лицо ее было бледным и напряженным. Она, очевидно, не видела ничего и никого, кроме одного. Рука ее судорожно сжимала ремешок сумки, и она словно затаила дыхание. Он посмотрел на нее и поспешно отвел взгляд, оглядывая другие лица.

«Да вот и эта дама, и другие тоже очень взволнованы; это вполне естественно», – сказал себе Иван Петрович. Он старался не смотреть на нее, но взгляд его невольно возвращался к ней. Он снова вглядывался в ее лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано, и против воли своей с ужасом читал на нем то, чего он не хотел знать.

Первая авария, когда дрон Кузнецова рухнул на трассу, взволновала всех, но Иван Петрович ясно видел на бледном, торжествующем лице Марины, что дрон того, на кого она смотрела, не упал. Когда после того, как Макаров и Волков прошли сложный участок, следующий пилот врезался в ограждение и его дрон разбился вдребезги, и по толпе пронесся вздох ужаса, Иван Петрович видел, что Марина даже не заметила этого и с трудом поняла, о чем говорят вокруг. Но он все чаще и чаще, и с большим упорством вглядывался в нее. Марина, вся поглощенная зрелищем полета дрона Волкова, почувствовала сбоку устремленный на себя взгляд холодных глаз мужа.

Она оглянулась на мгновение, вопросительно посмотрела на него и, слегка нахмурившись, снова отвернулась.

– Ах, мне все равно, – как будто сказала она ему и больше ни разу не взглянула на него.

Гонки сегодня были неудачными, и из семнадцати дронов разбилось больше половины. К концу соревнований все были в напряжении, которое еще более усилилось тем, что представитель администрации был недоволен.

XXIX.

Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: «Не хватает только цирка с медведями», и общее напряжение чувствовалось всеми, так что, когда дрон Волкова упал и Марина громко ахнула, в этом не было ничего необычного. Но вслед за этим в лице Марины произошла перемена, которая была уже откровенно неприличной. Она совершенно потеряла самообладание. Она стала метаться, как пойманная птица: то хотела встать и уйти куда-то, то обращалась к Лене.

– Поехали, поехали, – говорила она.

Но Лена не слышала ее. Она разговаривала, наклонившись вниз, с подошедшим к ней полковником.

Иван Петрович подошел к Марине и вежливо подал ей руку.

– Пойдемте, если вам угодно, – сказал он по-русски; но Марина прислушивалась к тому, что говорил полковник, и не заметила мужа.

– Тоже сгорел процессор, говорят, – говорил полковник. – Это ни на что не похоже.

Марина, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал дрон Волкова; но было так далеко, и там столпилось столько людей, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела уйти; но в это время подбежал офицер и что-то докладывал представителю администрации. Марина высунулась вперед, слушая.

– Антон! Антон! – прокричала она брату.

Но брат не слышал ее. Она снова хотела уйти.

– Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите уйти, – сказал Иван Петрович, дотрагиваясь до ее руки.

Она с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, ответила:

– Нет, нет, оставьте меня, я останусь.

— Нет, нет, оставьте меня, я останусь здесь.

Она увидела, как от места падения того парня, через толпу, к беседке бежал военный. Бетси махала ему своим платком. Военный принес новость: водила жив, но тачка в хлам.

Услышав это, Анна резко села и закрыла лицо рукой. Алексей Александрович заметил, что она плачет, и не может сдержать не только слез, но и всхлипываний, которые сотрясали ее плечи. Алексей Александрович заслонил ее собой, давая ей время прийти в себя.

— В третий раз предлагаю вам свою помощь, — сказал он через некоторое время, обращаясь к ней. Анна смотрела на него и не знала, что ответить. Княгиня Бетси пришла ей на помощь.

— Нет, Алексей Александрович, я забрала Анну, и я обещала ее отвезти, — вмешалась Бетси.

— Простите меня, княгиня, — сказал он, вежливо улыбаясь, но твердо глядя ей в глаза, — но я вижу, что Анна неважно себя чувствует, и я хочу, чтобы она поехала со мной.

Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа.

— Я узнаю, что с ним, и пришлю тебе сообщение, — прошептала ей Бетси.

На выходе из беседки Алексей Александрович, как обычно, разговаривал со знакомыми, и Анна должна была, как обычно, отвечать и говорить; но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем.

«Жив он или нет? Это правда? Он напишет? Увижу ли я его сегодня?» — думала она.

Она молча села в машину Алексея Александровича и молча выехала из толпы автомобилей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все еще не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он видел только внешние признаки. Он видел, что она ведет себя неподобающе, и считал своим долгом сказать ей об этом. Но ему было очень трудно не сказать больше, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично себя вела, но невольно сказал совсем другое.

— Как же мы все падки на эти жестокие зрелища, — сказал он. — Я замечаю...

— Что? Я не понимаю, — презрительно ответила Анна.

Он обиделся и тут же начал говорить то, что хотел.

— Я должен тебе сказать, — проговорил он.

«Вот оно, объяснение», — подумала она, и ей стало страшно.

— Я должен тебе сказать, что ты вела себя сегодня неподобающе, — сказал он ей по-французски.

— В чем я вела себя неподобающе? — громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но уже не с прежним скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх.

— Не забывай, — сказал он ей, указывая на открытое окно напротив водителя.

Он наклонился и поднял стекло.

— Что ты нашел неподобающим? — повторила она.

— То отчаяние, которое ты не смогла скрыть при падении одного из участников.

Он ждал, что она возразит; но она молчала, глядя перед собой.

— Я уже просил тебя вести себя в обществе так, чтобы даже злые языки не могли ничего сказать против тебя. Было время, когда я говорил о личных отношениях; сейчас я о них не говорю. Сейчас я говорю о внешних приличиях. Ты вела себя неподобающе, и я хотел бы, чтобы это не повторялось.

Она не слышала и половины его слов, она испытывала страх перед ним и думала о том, правда ли, что тот парень жив. О нем ли говорили, что он цел, а машина разбита? Она только притворно-насмешливо улыбнулась, когда он закончил, и ничего не ответила, потому что не слышала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело, но, когда он ясно понял то, о чем он говорит, страх, который она испытывала, передался ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение овладело им.

Она почти не разбирала его слов, её сковал страх, и она неотвязно думала: правда ли, что Вронский жив? Говорили, он отделался легко, а вот лошадь сломала позвоночник. Она натянула на лицо подобие насмешливой улыбки, когда он закончил говорить, и промолчала, потому что почти ничего не услышала. Алексей Александрович начал говорить уверенно, но,

осознав смысл собственных слов, почувствовал, как её страх передаётся ему. Он заметил её улыбку, и его охватило странное заблуждение.

"Она смеётся над моими подозрениями. Да, сейчас она повторит то же, что и в прошлый раз: что мои подозрения беспочвенны, что это смешно".

Теперь, когда над ним нависла угроза разоблачения, он больше всего желал, чтобы она, как и прежде, с насмешкой ответила, что его подозрения нелепы и безосновательны. До того страшно было то, что он знал, что он готов был поверить во что угодно. Но выражение её лица, испуганного и мрачного, не сулило даже лжи.

— Возможно, я ошибаюсь, — произнёс он. — В таком случае, прошу прощения.

— Нет, вы не ошиблись, — медленно ответила она, отчаянно глядя в его холодное лицо. — Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас, а думаю о нём. Я люблю его, я его любовница, я не могу больше это скрывать, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со мной что хотите.

И, откинувшись на спинку сиденья, она зарыдала, закрыв лицо руками. Алексей Александрович не шелохнулся, взгляд его оставался неподвижным. Но лицо его вдруг застыло в торжественной, мертвенной неподвижности, и это выражение не изменилось до самого подъезда к даче. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову с тем же выражением.

— Так! Но я требую соблюдения внешних приличий до тех пор, — голос его дрогнул, — пока я не приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу вам о них.

Он вышел первым и помог ей выйти. На глазах у прислуги он молча пожал ей руку, сел в машину и уехал в Петербург.

Вскоре после его отъезда пришёл посыльный от княгини Бетси и передал Анне записку:

"Я послала узнать у Алексея о его здоровье, и он пишет, что здоров и невредим, но в отчаянии".

"Так он будет страдать! — подумала она. — Как хорошо, что я всё ему рассказала".

Она взглянула на часы. Впереди ещё целых три часа, и воспоминания о последней встрече с ним вновь разожгли её кровь.

"Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот нереальный свет... Муж! Ах, да... Ну, и слава Богу, что с ним всё кончено".

Как и во всех местах, где собираются люди, так и в небольшом санатории под Дюссельдорфом, куда приехали Щербацкие, произошла обычная кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определённое и неизменное место. Как частица воды на морозе принимает определённую форму снежинки, так и каждое новое лицо, прибывающее в санаторий, немедленно занимало отведённое ему место.

Фюрст Щербацкий замт гемалин унд тохтэр, и по номеру, который они сняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли, сразу же заняли своё определённое и предназначенное им место.

Фрау Шербацкая

Замминистра

гемалин унд тохтэр,

И квартира, которую они сняли в новостройке, и имя отца, и новые знакомства — всё моментально встало на свои места, как будто так и было задумано.

В этом году в Трускавце отдыхала настоящая немецкая фрау из министерства, и это придавало местному обществу особый лоск. Княгиня, разумеется, захотела представить свою дочь высокой гостье, и уже на следующий день визит состоялся. Кити сделала глубокий реверанс в своем легком летнем платье, заказанном онлайн у киевского дизайнера. Фрау заметила: "Надеюсь, румянец скоро вернется на это милое личико". И для Щербацких словно открылись новые горизонты, из которых уже не хотелось выходить. Они познакомились с семьей британской журналистки, с немецкой графиней и её сыном, раненым на Донбассе, со шведским волон-

тером и с блогером Канутом и его сестрой. Но основной круг общения Шербацких составила московская дама, Марья Евгеньевна Ртищева, с дочерью. Дочь Ртищевой раздражала Кити, потому что тоже страдала от неразделенной любви. Еще был полковник из Москвы, которого Кити знала с детства в парадном мундире. Здесь же, в гражданской одежде, с маленькими глазками и открытой шеей, он казался нелепым и навязчивым. Когда всё это устоялось, Кити стало скучно, особенно после отъезда отца в Баден-Баден. Она осталась с матерью и потеряла интерес к знакомым, понимая, что ничего нового от них не услышит. Главным развлечением стали наблюдения за незнакомцами. Кити всегда склонна была видеть в людях лучшее, особенно в тех, кого не знала. Она строила догадки об их отношениях, характерах и находила подтверждение своим фантазиям в мелочах.

Особое внимание привлекала русская девушка, приехавшая с больной дамой, которую все называли мадам Шталь. Мадам Шталь, по слухам, была из высшего общества, но из-за болезни почти не выходила из дома и редко появлялась на прогулках в инвалидной коляске. Княгиня говорила, что мадам Шталь не общается с русскими из-за гордости. Русская девушка ухаживала за ней и, как заметила Кити, помогала другим тяжелобольным, которых было много на курорте. Кити поняла, что девушка не родственница и не наемная сиделка. Мадам Шталь звала её Варенькой, а остальные – "мадемуазель Варенька". Наблюдения за отношениями Вареньки и мадам Шталь были интересны, но Кити испытывала необъяснимую симпатию к этой девушке и чувствовала, что она тоже нравится Вареньке.

Среди отдыхающих на курорте Кити особенно выделяла одну русскую девушку, приехавшую с больной дамой, которую все называли мадам Шталь. Мадам Шталь, судя по всему, принадлежала к высшему обществу, но была настолько слаба, что почти не выходила из дома, и лишь в редкие погожие дни появлялась на прогулке в инвалидной коляске. Княгиня говорила, что мадам Шталь избегает знакомств с русскими не столько из-за болезни, сколько из-за надменности. Русская девушка ухаживала за ней, а еще, как заметила Кити, охотно помогала другим тяжелобольным, которых на курорте было немало. Кити пришла к выводу, что девушка эта не родственница и не наемная сиделка мадам Шталь. Мадам Шталь называла ее Варенькой, а остальные – просто "мадемуазель Варенька". Кити интересовали не только отношения Вареньки с мадам Шталь и другими незнакомыми людьми. Она испытывала необъяснимую симпатию к этой девушке и чувствовала по мимолетным взглядам, что и сама ей нравится.

Мадемуазель Варенька не то чтобы была немолода, скорее, казалась существом вне возраста: ей можно было дать и девятнадцать, и тридцать лет. Если присмотреться к ее чертам, то, несмотря на болезненный цвет лица, она была скорее красива, чем дурна. Она была бы даже хорошо сложена, если бы не излишняя худоба и непропорционально большая голова при среднем росте. Но в целом, она вряд ли могла привлечь мужчин. Она напоминала прекрасный, но уже отцветший, без запаха цветок, хотя лепестки его еще не опали. К тому же, ей не хватало того, чего было в избытке у Кити – сдержанного огня жизни и осознания собственной привлекательности.

Она всегда казалась занятой делом, в важности которого не приходилось сомневаться, и поэтому, казалось, ничем посторонним не интересовалась. Именно эта противоположность с ней самой особенно привлекала Кити. Кити чувствовала, что в ней, в ее образе жизни, она найдет пример того, что сейчас так мучительно искала: интересов жизни, достоинства жизни – вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, которые теперь представлялись ей позорной выставкой товара в ожидании покупателей. Чем больше Кити наблюдала за своей незнакомой подругой, тем больше убеждалась, что эта девушка – именно то совершенное существо, каким она ее себе представляла, и тем сильнее ей хотелось познакомиться с ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.